

**Вороницын И. П.
Лейтенант Шмидт**



Введение.

В том году жили день за месяц и месяц за год.

Революционное движение, нараставшее почти незаметно для постороннего наблюдателя, проявлялось в предшествующие годы отдельными вспышками крестьянского недовольства и классовой борьбы пролетариата, студенческими волнениями и недовольством в широких слоях буржуазной интеллигенции. Первые неудачи русско-японской войны были только внешним толчком, ускорившим и обострившим этот еще скрытый процесс.

1904 год закончился уже в грозовой напряженной атмосфере. На многочисленные стачки, волнения, петиции и требования царское правительство ответило указом 12-го декабря, начинающим собою ряд уступок и не столько уступок, сколько обманов, никого не обманывавших, а только раздражавших. Это была старая самодержавная сказка про белого бычка, с непременным сохранением незыблемости основных законов и обещанием заняться волнующими страну вопросами. На политической сцене, как воплощение этой политики, рисуется растерянная фигура “спасителя отечества” Витте.

На эту попытку потушить начинавшийся пожар революционное движение ответило 9-го января выступлением рабочих, формально мирным, но глубоко революционным по существу. И последовавшее крещение огнем и кровью стало исходным пунктом великого года. Революция была провозглашена.

С этого момента стихия революции разлилась, буря экономических и политических забастовок подняла рабочие массы города и, перекинувшись в деревни, вызвала пожар аграрных волнений. Этим двум основным потокам революционного движения сопутствует бесчисленный ряд террористических актов, поражавших все ступени административной лестницы с верхней до нижней, от великого князя Сергея Романова до последнего дворника и стражника.

И, наконец, оружие, приготовленное для внешних и внутренних врагов самодержавного режима, обращается против него самого: бунты и восстания в армии и флоте свидетельствуют о том, что штык, бывший единственной опорой власти, потерял свою непоколебимость и готов служить делу освобождения страны.

Но не только со стороны народного движения получала удары отжившая власть. Мукден, Цусима, Портсмут в свою очередь разрушали видимую прочность власти в самых ослепленных глазах и в самые косные умы вдалбливали сознание невозможности сохранять в дальнейшем самодержавную систему.

На фоне грозовой атмосферы этого года почти не различить отдельных людей. Перед нами движутся массы. Военачальники же бессильно топчутся в смятенных рядах армий, выведенных из равновесия и стихийно ищущих правильного пути.

Один только раз вспышки бесчисленных молний осветили среди безличной массы героического восстания вождя, которого увидела вся страна. Но этот вождь был слеп, этот герой стоял на пороге безумия. Трагизм личной истории лейтенанта Шмидта неразрывно сплелся с трагизмом несозревшей революции. Бессильный порыв масс к творчеству новой жизни, порыв, не осознанный в ясно кристаллизованных политических и социальных целях, слился с порывом личности, личности одаренной, но исковерканной жизнью и средой. Шмидт *хотел* быть вождем, к этой цели были направлены все усилия его воли, и обстоятельства позволили ему возвыситься в частном эпизоде революции до этой роли, но сыграть ее во всероссийском масштабе он был бессилён.

Имя лейтенанта Шмидта известно теперь почти всякому грамотному человеку, как имя одного из *героев* революции 1905 года. Можно сказать даже, что это самое популярное имя, связанное с этим *страшным* годом, *великим* годом,

безумным годом, как часто называлась первая российская революция.

Были, конечно, и другие имена. Но если не говорить, с одной стороны, об именах партийных вождей, чья слава неразрывно слита со значением и ролью партий, к которым они принадлежали, если исключить, с другой стороны имена, всплывшие подобно пене и пузырям в потоке массового движения, чтобы затем бесследно исчезнуть, мы должны установить, что имя лейтенанта Шмидта — самое большое и громкое имя, чистым и незапятнанным переданное нам из той уже отдаленной эпохи. Это — имя если не вождя, то героя, яркой личности, беззаветно преданной, революции и во имя этой революции гибнущей с высоко поднятой головой.

Он вышел из той среды офицерства, которая по своим традициям и положению была враждебна народному делу, он был одиночкой, открыто на виду у друзей и врагов перешедшим пропасть, отделявшую эти два лагеря. Одиночка, приковавший к себе исключительное внимание, — этому содействовали, конечно, и его личные качества, — не мог уже затеряться в массе восставших. Он сам не хотел с этой массой слиться и с открытыми глазами, побуждаемый честолюбием, принял на себя роль вождя. Он обладал чрезмерным чувством своей значительности, граничившим с манией величия, был одушевлен той страстью к великим делам, которая в известных обстоятельствах дает в руки солдата жезл фельдмаршала и возлагает на слабые плечи отдельного человека бремя массовых чувств и стремлений. Люди, поднятые на такую высоту, обычно падают под этим бременем или становятся искупительной жертвой. Шмидта судьба обрекла на жертву.

Интеллигент-разночинец, вышедший из служилого дворянства, он чуткой душой еще в юности почувствовал неправду старого и устремился к великой правде нового. Но тяжелый гнет среды, наследственности, воспитания не дал в

полной мере развиться заложенным в нем задаткам. Порыв угас, мятежная душа смирилась, вязкая тина обывательщины облепила ум. Уродно сложилась личная жизнь. Мы можем только угадать, как велики были его страдания. И так продолжалось много лет, десятилетия.

И потом среди увядания осени вдруг расцвели весенние цветы. Короткий и яркий расцвет! Воскресли былые порывы, обманчиво возродилась юность. Он был старомоден в этой новой жизни, в которой так неожиданно проснулся. За годы его духовной спячки народилась и выросла сила, которой суждено изменить лицо мира. В первых рядах начавшейся революции сплошными безликими рядами шел пролетариат, которого он не знал. А героическое в его пробудившемся сознании толкало его именно в первые ряды, и в эти ряды он встал.

Поэтому мы не можем расценивать, как сознательно враждебные пролетариату, те действия Шмидта, которые не отвечали прямой линии революции. И поэтому мы считаем себя в праве чтить в Шмидте одного из борцов и героев, подготовлявших в борьбе с самодержавием победу пролетариата.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Детство и юность.

I. Происхождение и детство. В морском училище.

“Красный лейтенант” Черноморского флота Петр Петрович Шмидт принадлежал этому флоту по своему происхождению. Он родился 5 февраля 1867 года в гор.

Одессе в семье морского офицера, дослужившегося впоследствии до адмиральского чина. Отец его был моряком по призванию, страстно любившим свое дело и почти не сходящим на сушу. Воспитание сына было целиком предоставлено матери. Мальчик рос среди старших сестер общим любимцем. Впечатлительный до крайности, хрупкий и болезненный, он выжил, только благодаря неусыпному надзору матери и сестры, готовых на всякие жертвы ради спасения жизни ребенка.

Организм ребенка страдал от тяжелой наследственности, которая сказывалась на его нервной системе. До его рождения в семье трое сыновей в раннем детстве умерли "от воспаления мозга". Его сестра Маруся, старше его на несколько лет, с раннего возраста отличалась экзальтацией, склонностью к мистицизму и душевной неуравновешенностью, приведшей ее к самоубийству. Эта болезненная нервность и впечатлительность, несомненно, переданы отцом, человеком неуравновешенным до крайности, вспыльчивым до самозабвения.

С нежной душой и обнаженными нервами ребенок вступает в жизнь. Рано минует беспечальная пора. Преждевременная смерть матери, любимой до экзальтации, наносит первый неизгладимый удар.

Мать Шмидта рисуется нам грустной и задумчивой женщиной, доброй и ласковой. Ее жизнь не удовлетворяет ее, и она ищет выхода своим запросам в служении ближнему. Для своего времени она была очень образованным человеком, горячо воспринявшим одушевлявшие тогда русское общество идеи. Грязь и мерзость военно-морской среды отталкивали ее. Она много читала, училась. Неудивительно, что Шмидт всю жизнь свою хранит в душе ее образ, и культ матери всегда оказывает на него большое, очищающее влияние.

Осиротевшие дети, брошенные отцом, живут своей собственной жизнью. Старшая сестра пытается заменить им

мать. Старше их на несколько лет, но еще крайне юная, мистически настроенная с детства, она вводит духовную жизнь младших сестры и брата в русло религиозной экзальтации, читает им Библию, много говорит о Боге. Это влияние прерывается поступлением в гимназию. Мальчик, воспитывавшийся в женском обществе, должен был с особенной податливостью подчиниться воздействию товарищеской среды, отдаться всей душой новым впечатлениям. Духовное отходит на второй план, хотя и не стирается совсем, и то, что мы теперь называем физической культурой, — проявление растущей силы, игра, возня, затем гимнастика, гребной и парусный спорт, — становится преобладающим интересом. У маленького Шмидта много товарищей: он общителен. Жизнерадостность пробуждается в нем в этой обстановке с особенной силой.

Сын морского офицера должен был идти по дороге своего отца. Из Бердянской гимназии он переходит в Морское училище.

Море очень много значило в его жизни с ранних детских лет. “Я дня не мог прожить без моря, — говорит Шмидт в каземате Очаковской морской батареи, готовясь к смерти и вспоминая свою жизнь. — Я любил его всегда”.

В Морском училище эта любовь к морю столкнулась с казарменной рутинной подготовлявшей казенных моряков, офицеров военного флота. Настали трудные годы, не согретые теплом семейного очага, потому что отец женился вторично, и в мачехе дети встретили чужого и даже враждебного человека. Поступление в училище оторвало мальчика и от сестер, а в однокашниках его тонкая и чуткая натура не могла найти тот отклик, в котором она нуждалась больше всего.

В возрасте 15 — 18 лет мы видим в нем юношу, рано созревшего умственно, с запросами, поднимающими его значительно выше уровня среды. Кадетская среда, пропитанная насквозь карьеризмом и пошлостью, не засосала

его, оставила нетронутыми светлые порывы. Эти порывы ищут оформления и находят его в мыслях и чувствах передового русского общества тех дней. Это тем более замечательно, что в истории русского общества восьмидесятые годы были периодом глубокой общественной реакции и застоя. Отгремела славная героическая борьба Народной Воли. Вожди и лучшие солдаты маленькой освободительной армии частью погибли на виселицах, частью томились в страшных казематах Шлиссельбурга или в далекой Сибирской каторге. Немногие уцелевшие или ушли в эмиграцию, или отходили от жизни, или, в лучшем случае, приспособляли свои передовые взгляды к возможностям и запросам изменившейся действительности.

2. В поисках мирозерцания.

Для суждения о Шмидте 1905 года и для понимания его имеет исключительную важности то обстоятельство, что его ум был оплодотворен освободительными идеями именно в период 80-х годов и что, вследствие ряда обстоятельств его личной судьбы, он был оторван до 1905 года от той эволюции, которую проделала русская общественная мысль за протекшее время.

Шмидт воспринял освободительные идеи не от революционеров 70-х годов, а от их культурнических последышей, восьмидесятников. Беспощадная расправа с революционерами, казалось, на многие годы и десятилетия отбросила всякую возможность для подготовки насильственного низвержения абсолютизма. В легальной прессе, — а нелегальная широким кругам была почти недоступна, — голос революционной общественности звучал глухо, и в нем господствовали ноты сознания собственного бессилия. Куда могло обратить свои взоры молодое поколение? На кого на какую общественную группу могло оно опереться? На

первый взгляд такая общественная сила отсутствовала. Был, правда, “народ” — огромный, безликий и бесформенный Илья Муромец. Сиднем сидел он на своей вековой печи и нагуливал богатырскую силушку. Но когда проснется он и встанет? А когда встанет, какое лицо явит он взорам, устремленным на него со страстной мольбой и надеждой? Этого не знали они, родившиеся слишком поздно, чтобы принять участие в дерзновенном поединке революционной интеллигенции с царским самодержавием и пасть в неравной борьбе, и слишком рано, чтобы железным плугом марксизма, вместо древней сохи народничества, пахать другую, новую народную целину у фабричных и заводских труб, в радостном предвидении неизбежной богатой жатвы.

Шмидт духовно вырос и созрел в этот период. Следующий период общественной истории — 1890-е годы — не мог уже произвести радикальный переворот в его взглядах, этому мешали и его личные обстоятельства.

Разброд и упадок 1880-х годов лишь постепенно сменялся настроениями более прочными. Радикальная интеллигенция долго не могла найти приложения своим идеалам; оттого и на протяжении 1890-х годов она в большинстве своем оставалась беспочвенной. Исторический перелом, определяющий переход от реакции к нарастанию нового общественного движения — 1891 и год, год ужасного голода, не был сам по себе событием, способным до основания потрясти народную жизнь и вызвать в глубинах ее такое движение масс, к которому могла бы прилепиться взыскующая града интеллигентская мысль. Это был перелом, это был водораздел, но слишком незаметный и по существу чисто условный. Изжившее себя “восьмидесятничество” с его “теорией малых дел”, культурничеством, с толстовским непротивленчеством не могло найти себе сразу заместителя, способного одним взмахом метлы смести этот мусор реакции с арены общественной жизни. Эпигоны революционного народничества сохранили старую вывеску, но краски этой

вывески слиняли. Убогий либерализм, не заходящий в своих самых смелых стремлениях дальше единения царя с народом и устранения бюрократического средостения, самым противоестественным образом сочетался с народническим утопизмом, с верой в общину и артель, с проповедью культурного похода в народ для поднятия его нравственного и материального уровня. Тепленькая вера в “народ”, не способная ни на одно, даже маленькое дело, интеллигентское самолюбование и верноподданическое низкопоклонство, вот общий тон общественных настроений, которые на первых порах характеризуют общественную жизнь 1890-х годов.

В этой затхлой общественной атмосфере должен был дышать идеалистически настроенный юный Шмидт.

Страдание общественными язвами, личное, индивидуальное переживание их, — лейтмотив его тогдашних настроений. Он ищет ответа на “проклятые” вопросы, так остро встававшие перед ним, и ему кажется, что этот ответ он находит в общественных науках.

“Я с юных лет интересовался общественными науками, — вспоминает он в 1905 году, — только в них находя ответы на *мучительные вопросы, разрешения которых требовало оскорбленное чувство правды и справедливости*”. Самообразование для него в это время “первый и единственный путь к правильному построению жизни”. В нем ищет он укрепления и утверждения своего общественного идеала.

Поставив и пытаясь разрешить для себя проклятые вопросы, Шмидт пытается увлечь на этот путь и своих немногих друзей. Отрешаясь сам от мелочей и пошлости обыденщины и устремляя свои взоры в сторону идеального, он зовет к этому и окружающих.

Судя по его письмам этого периода, проповедь его была почти безрезультатной. Он подвергается насмешкам, вокруг него создается враждебная атмосфера, и в душе зарождается сознание собственного бессилия и неприспособленности. “Я боюсь за самого себя, — пишет он. — Мне кажется, что такое

общество слишком быстро ведет меня по пути разочарования. На другого, может быть, это не действовало бы так сильно, но я до болезни впечатлителен”.

Мы видим здесь, таким образом, с одной стороны, страдание обнаженных нервов от грубых прикосновений чуждой по духу среды, а, с другой стороны, стремление эту среду приспособить к себе, привить к ней те идеалы "добра и правды", которые одушевляют его самого и служение которым образует, по его мнению, единственный смысл жизни. Самые идеалы еще так же незрелы, юны и неоформлены, как и сам он.

3. Идеиные влияния. Отношение к действительности.

Большое влияние на молодого Шмидта оказал Н. К. Михайловский, бывший в те годы в расцвете своей литературной славы. Шмидт сам считает его своим учителем, заложившим основы его мировоззрения. “Я вырос под влиянием Михайловского, — писал он в 1905 году, — и этот апостол правды всю свою жизнь был для меня глубоко-чтимым руководителем. Его смерть была для меня горем, хотя я никогда не видел его, а только находился с ним некоторое время в переписке по вопросу “субъективного метода в социологии”.

И, действительно, "субъективный метод" Михайловского был им усвоен целиком. Все мировоззрение Шмидта пропитывал идеалистический взгляд на развитие общества, представление, что законы этого развития зависят от человеческой психики, от более или менее сознательного отношения людей к их общественной жизни. Затем от Михайловского в первую очередь, а потом и от других своих учителей Шмидт усвоил народнический фетишизм общины, веру в то, что русский народ, благодаря общинному строю крестьянского хозяйства, как-то особенно предрасположен к

социализму.

Народнический утопический социализм был тем наследством, которое вместе со многими другими русскими интеллигентами той эпохи получил от Михайловского Шмидт и которое он донес почти неприкосновенным до совершенно иной эпохи, когда это наследство стало уже анахронизмом.

Может быть, если бы авторитет Михайловского не подчинил юную душу Шмидта, более плодотворным оказалось бы влияние другого писателя, которого он также причисляет к своим учителям, влияние Н. В. Шелгунова.

Знакомство с этим замечательным публицистом завязалось у Шмидта через сына Шелгунова, также ученика Морского училища.

Этот писатель, первый в России поставивший во всей остроте вопрос о роли пролетариата в мировой жизни (1862 г.), был ярким врагом восьмидесятничества, продолжая, с одной стороны, славные традиции 1860-х годов, а, с другой, — в последние годы своей жизни, — намечая обоснование того нового течения общественной мысли, которое через 1890-е годы привело к революционной организации пролетариата в первом десятилетии нашего века. Шелгунов, однако, не был марксистом. Его отношение к основному теоретическому вопросу, вопросу о роли личности в истории, было двойственным. С одной стороны, он придавал огромное значение социально-экономическому фактору, только в социально-экономических условиях видел источник развития всех надстроек общества, и в этом он приближался к марксизму; с другой стороны, однако, основой всей цивилизации он считал усовершенствование человеческих способностей и здесь вместе с народничеством обеими ногами путался в метафизике. Эта вторая сторона в общем и целом преобладала в его мировоззрении: отводя огромное значение экономике, Шелгунов все-таки утверждал, что единственным элементом прогресса является *свободная* человеческая личность. Во всяком случае, публицистические

статьи автора “Очерков русской жизни” и обаяние его, человека целиком преданного освободительному движению, не мало способствовали развитию у Шмидта отрицательного отношения к русской действительности.

Не менее решающим было влияние Н. А. Карышева, тогда еще молодого экономиста. Шмидт сам подчеркивает роль Карышева в образовании его духовной личности: “Он направил меня на изучение политической экономии, и знакомство мое под его руководством с литературой этой науки окончательно утвердило те знания, на которых покоятся мои политические убеждения. Эти знания утвердили меня в полной и стройной научности социализма, как неизбежной формы государственности”.

Итак, Шмидт, по собственному его утверждению, социалист с юных лет. Однако, тот социализм, который почерпнул он из сочинений Михайловского и из бесед с Карышевым, был в сущности чисто интеллигентским, не действенным мировоззрением, способным, конечно, поднять человека выше среднего уровня и доставить ему лично высокие переживания, но и только. Социализм действенный, социализм действительно научный, марксизм, остался для Шмидта книгой за семью печатями.

Только появление и рост рабочего движения в России могли направить взоры радикальной русской интеллигенции в сторону марксизма. В рассматриваемую же нами эпоху глубокая спячка почти не нарушалась еще зарницами грядущих движений. К этим движениям готовились, их прозревали лишь немногие из деятелей предшествующего революционного периода, совершавшие духовную экскурсию на Запад, где передавая мысль научно обосновала движение пролетариата и указала пути его. “Группа освобождения труда”, поднявшая с Г. В. Плехановым во главе знамя революционного марксизма в России, имела в ту пору слишком слабое влияние и могла даже остаться неизвестной Шмидту и многим другим. Подведенные Плехановым в его

полемике с Тихомировым итоги революционного периода 1870-х годов не могли получить широкое распространение, так как в условиях реакции первые русские социал-демократы не имели легального органа для распространения своих взглядов. А с другой стороны, как мы указывали, помимо внешних политических препятствий, упадочное настроение, овладевшее русским обществом, не могло способствовать распространению этих идей. Лишь с начала 1890-х годов марксизм отчасти приобретает возможность заявлять о себе легально. Шмидт к этому времени был уже сложившимся человеком, и общественные интересы заслонялись у него личной трагедией.

Шмидт даже в своей юности не был революционером и не проводил в жизнь своих убеждений. Он был просто либералом-народником. Он ограничивался платоническим сочувствием к людям, ведущим революционную борьбу с правительством, но в их ряды не вступил. Единственный конкретный факт его “революционной” деятельности, о котором вспоминает он сам и на который указывали его биографы, это писание печатными буквами и печатание на гектографе “Исторических писем” Лаврова. К числу таких попыток проявить практически свое недовольство существовавшим порядком вещей следует, может быть, отнести его поступление в качестве рабочего на завод сельскохозяйственных орудий в Бердянске.

Об этом эпизоде его жизни нам рассказывает его сестра. Возвращаясь утомленный с работы, Шмидт “рассказывал с восхищением о рабочих, ради близости и знакомства с которыми ходил на завод. Горячо и гневно часто со слезами на глазах, он возмущался уродливыми условиями труда, жизни и сиротством русских рабочих”.

Если в этой попытке сближения с рабочими было не одно только желание узнать их жизнь и условия работы, — желание само по себе симпатичное и продиктованное конечно, не праздным любопытством, — но играло роль

также и стремление помочь им, указать им путь к улучшению их жизни, к освобождению от рабства, то, надо думать, эта вторая задача Шмидту не удалась. Иначе, конечно, он вспомнил бы о ней впоследствии. Но знакомство с жизнью рабочих отразилось несомненно на образовании его духовной личности и еще более укрепило в нем вражду к несправедливым порядкам жизни и любовь к униженным и угнетенным, которая была так сильна в нем всю его жизнь.

В своих записках Шмидт следующим образом рисует свое тогдашнее состояние: “То было в тяжелые 1880-е годы репрессий и пыток, которые уносили жертву за жертвой. Много лучших русских людей было замучено тогда. Мученическая смерть их увеличивала число борцов за освобождение родины и озлобляла души оставшихся, вызывая террор. Во мне лично каждая мученическая смерть вызывала горе и стремление скорее набраться знаний, учиться, чтобы скорее стать в их ряды. Я чувствовал себя способным к этому и продолжал читать с лихорадочной поспешностью, переходя от одной области к другой. Так на войне спешит вооружиться солдат, слыша выстрелы и сознавая, что бой начался и товарищи падают под сильными ударами противника. Знания укладывались в какой-то пылающий костер истин, пламя которого металось, вспыхивало и потухало, но не светило ярким ровным светом, чтобы указать мне путь правильной общественной работы, а душа требовала неотложного дела, а не только знаний”.

Этот порыв души оказался бесплодным “благим порывом”. Шмидт не стал в ряды гибнувших. Не стал именно потому, что для него одного порыва, одного требования души было мало. Его натура не была монолитной натурой борца-энтузиаста, и разъедающий анализ сопровождал в нем всякий порыв. Две души жили в нем и в юности, как они жили в нем в последний героический год его жизни. Одна душа звала к борьбе, другая, душа неврастеника, обрывала крылья у первой и искала несуществующий “путь правильной

общественном работы”. Только гипнотизирующее влияние движения народных масс могло заглушить голос второй души, как это и случилось с ним в 1905 г. В 1880-х годах этого случиться не могло, и он остался вне борьбы.

Шмидт много читал все эти годы. Приехав по производстве в офицеры в отпуск в Бердянск, он большую часть времени посвящает самообразованию. Он много читает также и в бытность свою в Петербурге зимой 1886 — 87 годов. Но книги не дают ему серьезного удовлетворения. Он чувствует все прорехи своего образования, до сих пор бессистемного и случайного. “Куда ни кинься, — уныло говорит он, — везде нет даже самых элементарных знаний, а без них и бессилён, и уверенности в себе нет”.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Годы морской службы.

1. Производство в офицеры. Семейная жизнь.

Шмидт был произведен в первый офицерский чин 29-го сентября 1886 года, после предварительной военной службы в течение трех лет в Морском училище.

19-летний мичман вступает в жизнь далеко не подготовленным к жестокой борьбе за существование, которая должна была для него начаться с этого момента. “Юный идеалист”, как не раз он сам называл себя, ни по складу своей натуры, ни по взглядам не подходил к военно-морской среде, с ее жесткими нравами, с ее безудержным карьеризмом, с ее распушенностью и безнравственностью. В этой среде не нужны были люди богато одаренные и тонко

чувствующие, каким был с детства Петр Петрович. И, вдобавок, служба его в первое время протекала в Петербурге, вне постоянного и непосредственного соприкосновения с горячо любимым им морем. На этой почве, естественно, выросло недовольство и уныние, уныние, которое, как мы видели, чрезвычайно сильно питалось и обстоятельствами общественного порядка.

Но предаться целиком этому унынию молодой моряк не мог. Он пытается найти в личной жизни ту опору, которая позволила бы распустить крылья среди вечных непогод. Этой опорой должна была стать любовь к женщине, брак. Женщина, возбудившая в нем чувство, не обладала ни умом, ни характером, ни запросами, которые позволили бы ей подняться выше обывательщины. Это была мелкая, ограниченная натура, совершенно не способная откликнуться на те повышенные требования, которые предъявлял к любви и к женщинам Шмидт. Но она обладала достаточным практическим чутьем, чтобы в первое время приспособиться к нему и не обмануть лишком рано его ожиданий. Она сделалась его женой и матерью его сына.

Это была женитьба-жертва, как характеризует ее впоследствии он сам. “Живя юношескими, далекими от действительной жизни, идеалами, я не взвесил своих сил, взял на себя непосильную ношу, под тяжестью которой и свалился”. Так же освещает это событие и его сестра: “Его горячая защита прав женщины, вера в возможность поднять ее, как бы низко ни пала она, сделали то, что когда жизнь, по фатальной случайности, прикоснулась к нему самой пошлой и циничной стороной, он не захотел, умышленно не захотел разбираться в действительности”.

Началась тяжелая житейская драма. Два человека, совершенно не сходные между собою, связаны прочными узами в течение многих лет. Любовь не скрашивает этого мрака. С его стороны преобладает чувство сострадания, оправдывающее и извиняющее эту ложь. Со стороны его

жены, по его словам, не было ничего кроме грубости и ненависти. Его попытки поднять ее хоть сколько-нибудь до себя встречают ожесточенный отпор, полное презрение ко всему, что было дорого и ценно для Шмидта, даже к начаткам культуры. Достаточно сказать, что она осталась почти безграмотным человеком. “Это была каторжная жизнь, — вспоминает Шмидт, — и как она остановила во мне все: и самообразование, и развитие”.

Что удерживало Шмидта так долго от разрыва? Что заставляло его переносить этот ад? Сам он ссылается на долг по отношению к сыну, на желание не лишать его матери. И разрыв, происшедший в начале 1905 года, он объясняет только тем, что его жена возненавидела также и сына. Но нужно учесть еще и привычку — сам Шмидт как-то мимоходом употребляет это слово, — привычку к страданию, к жертве, или, что то же, пассивность и слабовольность. С другой стороны, играло роль и самолюбие, весьма сильно развитое у него, нежелание признать перед близкими ему людьми, отрицательно относившимися к его браку, что он поступил легкомысленно и совершил ошибку. Он не только не признавал все время этого, но создал умышленно во всех убеждение, что совершенно счастлив в своей семейной жизни. И, наконец, от полного сознания безвыходного ужаса этой семейной жизни отвлекала его, эту жизнь смягчала любовь к сыну и любовь к морю, к своему делу.

2. В торговом флоте.

Женитьба произвела резкий переворот в жизни Шмидта. Для того, чтобы офицер мог жениться, по законам того времени требовалось предварительно выполнить ряд условий, чего Шмидт сделать не мог. Вследствие этого он должен был оставить военную службу и перейти в торговый флот.

Служба в торговом флоте продолжалась свыше десяти

лет, вплоть до его призыва из запаса вновь на действительную службу в начале русско-японской войны. Что это была за служба, насколько она поглощала все его время и помыслы, говорит он сам: “Я очень мало прикасался к земле, так как, например, последние 10 лет плавал только на океанских линиях, и в году набиралось не больше 60 дней стоянки в разных портах урывками, а остальное время обретался между небом и океаном. Последние пять лет был капитаном больших океанских пароходов. В другой раз, говоря о годах, проведенных им в скитаниях по морям, он с горечью замечает, что эти годы “остановили в нем всякое развитие и парализовали способность к умственному труду”. “Каторжная жизнь!” — восклицает он. И, однако, Шмидт любит море особенной нежной любовью и эту “каторжную жизнь” моряка не променял бы ни на какую другую.

В том небольшом литературном наследстве, которое оставил Шмидт, он часто возвращается к своей родной стихии, то прямо говоря о море, то сравнивая с ним явления окружающей жизни. Понятно, что он не мог не быть хорошим моряком, “хорошим капитаном”.

Об этой морской жизни Шмидта мы знаем немного. Из пароходов коммерческого флота, на которых он плавал, известны имена “Костромы” и “Дианы”. Позволим себе привести рассказ одного из его сослуживцев по “Диане”, напечатанный в газете “Одесские Новости” через несколько дней после восстания, прославившего имя Шмидта.

“Мы, все сослуживцы, глубоко уважали и любили этого человека, мы смотрели на него, как на учителя морского дела. П. П. был просвещеннейшим капитаном. Он пользовался новейшими приемами в навигации и астрономии, и плавать под его командованием это была незаменимая школа, тем более, что П. П. всегда, не жалея сил и времени, учил всех, как товарищ и друг. Один из его помощников, долго плававший с другими капитанами и назначенный затем на “Диану”, сделав один рейс с П. П., сказал: “Он открыл мне глаза на мере”. Эти

слова, как нельзя лучше, показывают, как относился П. П. к кораблевождению и как умел и любил передавать свои обширные познания морского дела.

Мы шли из Риги в Одессу поздно осенью. П. П. вследствие тяжелых условий плавания, не мог заснуть двое суток подряд, так как он бывал неутомим и не любил сваливать своих обязанностей на других. На третий день погода улучшилась, и П. П. попросив разбудить его заснул. Не прошло и двух часов, как погода изменилась, нашел туман. Помощник, стоявший на вахте, по непростительной небрежности, не сообщил об этом капитану и не разбудил его, и “Диана” налетела на гряды камней, как потом выяснилось, у острова Мен.

Страшный удар о камни, треск всего корпуса парохода заставил выскочить на палубу весь экипаж. Темнота ночи, шторм, жестокие удары о камни, неизвестность — все это невольно вызвало панику. Команда шумела, начался беспорядок.

И вот раздался тихий, но какой-то особенно твердый и спокойный голос П. П. Этот голос призвал всех к спокойствию. Это была сила влияния необыкновенная. Не прошло минуты, как все были спокойны, все почувствовали, что у них есть капитан, которому они смело вручают свою жизнь”.

Как классический капитан терпящего аварию судна, Шмидт спокойно распоряжается посадкой экипажа в шлюпки, заботливо относится к каждому узелку жалкого матросского скарба, а сам грустно и с доброй улыбкой, присущей ему, говорит:

— Я остаюсь, я не покину “Дианы” до конца.

Дав возможность спастись экипажу, он с явной опасностью для собственной жизни остается на судне, чтобы исчерпать все возможности спасти и его; и, действительно, дожидается прихода спасательных пароходов.

“Лучше погибнуть, чем изменить долгу!” — характеризует основную черту его характера сослуживец.

3. На транспорте “Иртыш”.

Будучи призван из запаса, Шмидт был назначен старшим офицером на “Иртыш” — огромный океанский пароход, входивший в качестве вспомогательного судна в злополучную эскадру адмирала Рождественского. Здесь ему пришлось вновь столкнуться с теми отрицательными сторонами военно-морского быта, которые в свое время сыграли немалую роль в его решении покинуть военный флот.

Условия службы на “Иртыше” и все злоключения этого несчастного судна, шедшего на верную гибель,¹⁾ позволят нам ближе познакомиться с той обстановкой в которой зарождалось недовольство моряков, сделавшее их одной из действующих сил в революции 1905 года а, с другой стороны, мы снова встретимся с П. П. Шмидтом, как с начальником и морским офицером²⁾.

Команда на транспорте состояла из 228 матросов, почти исключительно новобранцев, не видевших моря и не имевших понятия о корабельной работе. Работа же на транспорте, предназначенном везти уголь для эскадры, была особенно тяжела и неприятна. Судно всегда было пропитано угольной пылью, загрязнявшей все и требовавшей самой напряженной работы для достижения обязательной во флоте чистоты. “Сколько мы ни чистили, как ни отмывали палубу и краску, — рассказывает автор “Дневника”, — а судно день ото дня становилось все грязнее. Люди измучились; не успеешь вымыть палубу, как, глядишь, начинается перегрузка угля из одной ямы³⁾ в другую, и затем снова мытье и чистка”.

¹⁾ “Иртыш” затонул после боя у Цусимы; оставшаяся в живых часть команды спаслась и была взята в плен.

²⁾ История транспорта “Иртыш” рассказана матросом М. ввремя его пребывания в японском плену. Этот дневник матроса-цусимца в обработке А. Дунина был напечатан под заглавием “На пороге к смерти” в “Современнике”, за 1913 год, кн. 9.

³⁾ Угольные ямы — отделения в трюме, куда ссыпается уголь.

Но не одна тяжелая работа делала для матросов адом пребывание на транспорте. Отношения между офицерами и командой были в полном смысле слова отношениями рабовладельцев к рабам. Матросы совершенно не считались за людей, и дело доходило, например, до того, что пьяные офицеры безнаказанно избивали их и даже открывали по ним стрельбу. И это в походе, во время войны!

“Матросы и офицеры, — рассказывает М., — все мы шли на общее дело: на борьбу с неведомым неприятельским флотом, ожидавшим нас в чужих водах, на опаснейшее предприятие, какое только можно представить, и эта опасность, казалось, должна была нас сблизить, по крайней мере, настолько, насколько это допустимо без нарушения суровой морской дисциплины. В действительности же матросы и офицеры составляли два враждебных лагеря, и между обоими лагерями разница “боевого” настроения заключалась лишь в том, что последние проявляли свою вражду к нам совершенно открыто, без всякого стеснения, а мы, как рабы, таили ее в сердце нашем, не осмеливаясь проявлять ее в какой-либо конкретной форме”.

Матросы, среди которых было много людей умных, добрых и героически настроенных, при этой “дисциплине” превращались в людей забитых и озлобленных, в автоматом служебной лямки или в анархистов по настроению, стремившихся только “напакостить” ненавистному начальству, повредить опостылевшему кораблю. Это вызывалось не только нравственной атмосферой, царившей на “Иртыше”, как и во всем флоте. Разница в экономическом положении, в удовлетворении физических потребностей между “нижними чинами” и начальством была поразительна. Офицерство купалось в вине, свежее мясо и птица в кают-компании не сходили со стола, а матросы, на глазах у которых кутили их начальники, сплошь и рядом не имели черного хлеба, питались тухлой солониной, заплесневелыми сухарями.

Офицеры, впрочем, в первое время, когда шла погрузка и

подготовка к походу, находились на берегу. Только с приездом на судно старшего офицера лейтенанта Шмидта стало больше порядка. Он был очень внимателен к матросским нуждам и, поскольку это от него зависело, — но, к сожалению, от него зависело очень немного, — старался облегчить положение своих подчиненных. Так свидетельствует о нем простой матрос, знавший Шмидта только как офицера и не знавший Шмидта-революционера. Это весьма ценное для нас свидетельство подтверждается отзывом офицеров “Иртыша”, возвратившихся из плена в те дни, когда вся революционная Россия с ужасом ждала казни “красного лейтенанта”. “Отношение его к команде, — сообщалось в газетах того времени, — было самое идеальное, и, по словам плававших с ним офицеров, его нравственное влияние даже перевоспитало некоторых из них, державшихся иных взглядов на подчиненных им матросов”.

4. Злоключения “Иртыша”.

Транспорт был нагружен, уголь раскидан по ямам. Все было готово к плаванию, и матросы ждали отправки. Но они рассчитывали без хозяина. Совершенно неожиданно вышел приказ разгрузать. Вся проделанная до сих пор тяжелая работа пошла насмарку и, естественно что горечь от сознания бесплодности их труда и возмущение при виде таких порядков стали расти в сердцах людей. В течение двух месяцев после этого на корабле производились разные переделки.

Потом опять ждали отправки. Однако, кому-то очень не хотелось ехать на Дальний Восток, а может быть, просто не хотелось выпускать из рук такой дойной коровы как угольный транспорт, и в один прекрасный день на судно явилась комиссия и после роскошного обеда в кают-компании, обильно орошенного шампанским, признала

находившийся в трюме “Иртыша” уголь негодным. Стали разгружать. Но матросы видели и мотали себе на ус, что уголь, признанный негодным на “Иртыше”, был перегружен на транспорты “Урал” и “Дон”, которые также должны были плыть на Дальний Восток.

Из Балтийского порта, где происходило дело, пошли в Либаву, Там судно осмотрела новая комиссия и признала необходимым окрасить его подводную часть. На это также ушла неделя.

И снова угольная страда. Сначала погрузка производилась вольными рабочими. Но когда они забастовали из-за заработной платы, заставили грузить матросов. Дело шло плохо. Измученные матросы, которым кроме угля приходилось грузить и паклю, и дрова, и машинное масло, окончательно выбились из сил, и им в помощь пригнали пехотинцев. “Тут наше начальство, — пишет автор “Дневника”, — проявило изумительные способности в расценке солдатского и матросского труда: солдатам платили по рублю в день, а нам ни копейки”.

С углем проканителелись около двух месяцев. Это время потом вспоминалось, как тяжелый сон. И недовольство медленно, незаметно зрело в матросской массе. Мы читали газеты, критиковавшие боевые приготовления русского флота, его суда, начальство и пр., и сами собственными глазами видели то, о чем писалось. Наши сердца мучительно ныли...”

Матросам была видна только часть той путаницы и неразберихи, которая происходила вверху. П. П. Шмидту это было гораздо виднее, так как он по своему служебному положению являлся передаточной инстанцией между волей начальства и матросской массой. Вот какую картину тех же угольных мытарств, о которых рассказывает нам простой матрос, рисует старший офицер:

“Мы стояли в Либаве, и долгие недели проходили в запросах, принимать нам уголь для эскадры Рожде-

ственского, с которой мы шли, или не принимать. Главный Морской Штаб безмолвствовал. Угля же должно было принять около 8.000 тонн, работа тяжелая и продолжительная, так как средств к погрузке не было никаких. Выезжали только на матросских спинах. Вдруг приходит телеграмма принять уголь и через три дня выйти в Порт-Саид. Я докладываю командиру, что сколько бы людей мне ни дали, я в три дня исполнить эту работу никак не могу, нужна неделя с ночными работами. Крик, шум, — чтобы было принято и конец! “Адмирал приказал и должно быть выполнено!” — “Но если это невозможно выполнить?” возражал я. “Для вас все невозможно; адмирал приказал, и это должно быть возможно!” Я просил объяснить адмиралу обстоятельства дела, но получил ответ, что я как долго плававший на коммерческом флоте, слишком отвык от настоящем службы, что на военной службе нужно “исполнять”, а не “объяснять”.

Начали грузить день и ночь. Осень, дожди, матросы выбились из сил, не спим, сверху окрики и понукания. Надрывались, но, конечно, не успели.

Призывает командир и приказывает наполнить соленой водой двойное дно (балластные цистерны транспорта), чтобы дать ему “осадку”, чтобы транспорт имел вид принявшего уголь. Как, везти через моря и океаны к эскадре, для которой нужен каждый пуд угля, везти морскую воду? Везти морскую воду на транспорте, который был специально куплен для угля и обошелся с переделками около двух миллионов? Рисковать жизнью людей, успехом дела и миллионами для доставки воды Рождественскому, и все это делать только для того, чтобы доложить здесь адмиралу, что приказание его выполнено, уголь принят в три дня? “Приказывайте кому-нибудь другому, а я в таком преступлении участвовать не хочу”, — ответил я. — Благодаря такому категорическому отпору, мы “не выполнили” приказания и погрузили уголь”.

Уголь был погружен, но этим не кончились мытарства несчастного судна и его экипажа.

Надо было принарядиться, собираясь в тот крестный путь, который окончился цусимской голгофой, надо было попроситься с покидаемой родиной, надо было и предстать на императорском смотре...

Императорский смотр всей эскадры был назначен в Ревеле, и "Иртыш" поплыл туда. Но... тут произошла новая неудача или, как говорил матрос М. "промах начальства". Предоставим слово ему:

"Из канала в другой канал "Иртыш" выводили два буксирных катера. Нужно было сделать крутой поворот. Стали разворачиваться, но, вследствие ветра, дувшего с коря, развернулись неудачно. Буксир вытянулся и закрипел. Вдруг раздаётся оглушительный выстрел, как из пушки; буксир лопаётся, и транспорт полным ходом идет к берегу. Катастрофа была бы неминуемой, если бы ее не предупредил старший офицер. Не потеряв присутствия духа, лейтенант Шмидт перевел обе ручки телеграфа в машинное отделение, и обе машины заработали полным ходом назад. Старший офицер командовал, как всегда, красиво, отдавая приказания спокойным, звучным голосом".

Взяв в свои руки управление кораблем и буксирами, он так умело повел дело, что вскоре предупредил катастрофу.

Из дальнейших приключений "Иртыша" остановимся еще на его аварии при выходе в рейд у Ревеля. Виной были морские карты, обозначавшие глубину в тридцать четыре фута; "Иртыш", имевший осадку всего в тридцать футов, тем не менее сел на мель. На самом деле глубина в гавани была всего $28\frac{1}{2}$ футов, — совершенно недостаточная для транспорта-великана. Судно пришлось опять разгрузить. Потом пошли в Либаву, где затаились в док для исправления днища. Через месяц "Иртыш" грузится снова и, наконец, 23-го декабря 1904 года снялся с якоря и пошел на Дальний Восток через Суэцкий канал, догоняя эскадру

Рождественского, направляющуюся кругом мыса Доброй Надежды.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На пути к революции.

I. Отношение к войне. Политические иллюзии.

Лейтенанту Шмидту жилось на “Иртыше” не весело. По своему положению старшего офицера на военном корабле, он должен был находиться на нем почти безотлучно. “Тяжело, грязно и утомительно”, пишет он. Но и помимо неприятности пребывания на угольщике, нравственного удовлетворения его должность не давала ни в малейшей мере. Все опасности войны транспорту угрожали в той же степени, как и боевым кораблям, но показная и увлекательная сторона войны, активная встреча врага, бой — был уделом других. А Шмидт рвался в бой. Он просился на подводную лодку, совершенно не считаясь с тем, что этим удесят�ерял шансы своей гибели, но в этой просьбе ему было отказано. В эскадру Рождественского он также был назначен по собственной просьбе, хотя, если бы захотел, мог преспокойно окопаться в тылу. Опасность его привлекала.

Но к войне Шмидт относился несочувственно. Он ясно видел, что война эта продиктована авантюристическим стремлением правительства к расширению территории, что в основе ее лежало хищническое своекорыстие ничтожной кучки царедворцев. Он понимал, что русскому народу, кроме непоправимого вреда, кроме бесполезной гибели человеческих жизней и материальных ценностей, война при-

нести ничего не может. А как образованный моряк он знал, что русский флот для боевых действий против сколько-нибудь сильного врага совершенно не подготовлен. Незадолго до отплытия “Иртыша” он писал: “Мы двинемся на вражеский флот, от которого, думаю, нам не посчастливится. Силы будут равные, но искусство стрельбы, конечно, на стороне японцев, которые много лет готовили свой флот к войне, а не к смотрам, как готовили мы”.

С этой уверенностью в неизбежном поражении Шмидт отправляется в далекое плавание. Однако, восьмимесячное пребывание на “Иртыше” тяжело отразилось на его расшатанном организме. С ним раза два-три в месяц случались припадки, во время которых лицо чернело, делались конвульсии, он задыхался. Припадки эти отягчались хронической болезнью почек. По болезни он в Порт-Саиде списался с “Иртыша”. Говорили также, что одной из причин, по которой Шмидт покинул судно, были обостренные отношения с командиром транспорта на почве заступничества за команду.

Прощание Шмидта с матросами носило самый сердечный характер. Когда он сел на катер, рассказывает матрос М., вся команда выбежала на ванты и грянула ему от всей души “ура”.

По возвращении в Россию Шмидт был назначен командиром миноносца № 253, принадлежащего Черноморской эскадре.

Наступил, между тем, 1905 год. Если в 1904 году Шмидт ничем не проявил своего революционного настроения, то в 1905 году это настроение у него появляется и непрерывно возрастает. Он шаг за шагом проделывает ту эволюцию от конституционных иллюзий к революционным требованиям, которую мы видим у всего, так называемого, “передового” русского общества.

По своему социальному положению Шмидт принадлежал к верхушкам интеллигенции, т. е. к той группе населения,

промежуточное положение которой далеко не располагало к решительно-враждебному отношению к существовавшей власти. Правда, сам он где-то говорит, что служба в торговом флоте ввела его “в ряды рабочего пролетариата” и побудила “жить интересами рабочего сословия, но так же, как директор крупного завода по своему общественному положению и по своей роли в производстве должен быть отнесен к классу буржуазии, а не к пролетариату, так и капитан океанского парохода, зарабатывавший 5 — 6 тысяч в год, не стоит в рядах подчиненных ему матросов-пролетариев.

И Шмидт до 1905 года не был революционером. Его настроение, — потому что только о настроении тут и может идти речь, — было оппозиционным, оно совпадало с настроением тех земцев, которые в верноподданнических адресах умоляли Николая II дать России умеренную конституцию и тем предупредить неизбежную и опасную — также и для их интересов революцию снизу. Орган этих земцев-либералов “Освобождение”, выходивший за границей, был близок Шмидту, он даже переписывался в конце 1904 года с его редакцией.

Как реагировал Шмидт на первые громы революции?

9 Января еще не оторвало его от иллюзий мирного получения от власти требуемых русским обществом свобод, он еще не видел, что дело освобождения взял в свои руки пролетариат. Самая мысль о том, что революция в России, являясь общенародным делом, осуществима лишь в той мере, в какой руководство ею из рук интеллигенции внеклассовой перейдет в руки политической партии класса, сознавшего свое историческое значение, самая эта мысль была совершенно чужда его интеллигентской голове. “Мы сами не заметили, — сознается он после октябрьских дней, — как росла и крепла сознательность русского рабочего”. Ход революции ему рисуется в таком виде, что “безоружная интеллигенция постановила осуществлять свои права”, а ей на помощь пришел, незаметно воспитанный ею,

воспринявший ее знания народ, в том числе и пролетариат. И совершенно чуждо было ему, этому утописту и романтику, представление, что интеллигенция, и он в ее рядах, на самом деле жалко плелась в хвосте пролетарской армии и сплошь и рядом тормозила ее борьбу.

Переворот в своих политических настроениях Шмидт связывает с моментом обнародования манифеста 6-го августа о так называемой “Булыгинской думе”. “Моя надежда на полезность петиций (т. е. на мирный путь), — говорит он в своих автобиографических заметках, — имела место до обнародования “Булыгинской конституции”. С этого момента вся Россия, так долго и терпеливо ожидавшая и так жестоко оскорбленная этим новым издевательством, переменяла мнение”.

Эти слова, с одной стороны, подтверждают, что Шмидт большую половину революционного года еще продолжал стоять политически в рядах либеральствовавшей интеллигенции, а с другой — устанавливают, каким путем Шмидт пришел к революции.

Манифест 6-го августа был пробным камнем для политической зрелости всей интеллигенции вообще и в частности для земского либерализма. Часть, правда, очень незначительная, удовлетворилась жалкой подачкой совещательной думы, другая часть — большинство, эту подачку отбросила, но продолжала оставаться на прежних умеренных позициях, и лишь у немногих открылись глаза на всю утопичность “бессмысленных мечтаний”. Эти последние, повернувшись лицом к революции, возглавляемой пролетариатом, неизбежно должны были отвернуться от политической платформы земско-городских съездов и вступить в ряды социалистических партий, или же, оставаясь “дикими”, принять основные политические пункты из программы этих партий. Шмидт сделал последнее и таким образом с правого — либерального — крыла освободительного движения передвинулся к левому — революционному

крылу.

Этот переход, конечно, не был внезапным. Полевение совершалось в нем постепенно от события к событию, при чем не трудно было бы отметить ряд колебаний вправо и влево. Со своей впечатлительной, гибкой натурой, при отсутствии выношенного и продуманного мировоззрения, Шмидт мог воспринимать явления окружающей жизни только изолированно, без связи с общим потоком событий. На каждое явление он реагировал особо. Диалектическое мышление было чуждо ему, как новичку и дилетанту в политике.

2. Первые шаги в общественной деятельности.

Как известно, вторая половина 1904 года и начало 1905 года отмечены в истории русского общества широкой петиционной кампанией. От робких и умеренных пожеланий до крайних радикальных требований эти адреса, петиции, резолюции и т. п., обращенные прямо или косвенно к власти, проходили всю гамму политических настроений, существовавших в России, и чем дальше, особенно после девятого января, тем решительнее эти требования звучали.

Шмидт, естественно, не отнесся равнодушно к этой кампании и стал искать сочувствия среди товарищей офицеров. К ним именно обратился он со своей агитацией.

“Заговорили все, — рассказывает он в своих записках; — мольбы, просьбы, стенания посыпались как из рога изобилия. Молчали только военные. Во всех многочисленных просьбах недоставало только их голоса, и страна, точно волшебным жезлом, разделилась на две противоположные и враждебные друг другу части. С одной стороны — бюрократия, опирающаяся на военную силу, с другой стороны — народ опирающийся на свое право и правду. В этом общественном разделении было ясно с первой минуты одно,

что, присоединись войска к народу, к праву и правде, и скажи об этом войско честно, не было бы места борьбе. Бюрократия, потеряв почву, отошла бы в сторону. Настроение огромного большинства ясно указывало, что это так.

Я стоял среди войска и, оставаясь по убеждению в прогрессивной части общества, не мог не понимать, что все силы нужно употребить на убеждение офицеров. Я знал, как трудно говорить с гг. флотскими офицерами.

Чтобы стать им понятней и доступней, я отбросил в сторону свое мировоззрение, а стал на их же собственную точку зрения, взял за исходную точку своих бесед с ними ту присягу, о которой так много говорят гг. офицеры и которая, по их словам, руководит их поступками. Я убеждал их в том, что льстивая и преступная бюрократия не может быть твердым оплотом, я убеждал их сказать открыто государю, что совесть им не позволяет быть силой, на которую опирается власть изменников отчизны. Я доказывал им, что, выполняя преступные бюрократические предначертания, они отворачиваются от народа и ставят тем государя, которому хотят служить, в положение монарха в стране, охваченной революцией. Я говорил им везде, где мог: и на бульваре, и на улице, и у себя, и в Морской собрании. Я настаивал на том, что долг присяги обязывает довести до государя, что они — флот, дети народа, не могут, не хотят идти по велению преступных царских советчиков против своего народа, их вскормившего. Я верил в то, что, *подай офицеры флота петицию, за ними последуют другие военные, и реформы будут даны.* Я указывал им на то, что присяга обязывает их не выполнять приказаний, явно клонящихся ко вреду, я призывал их восстановить честь мундира, о которой они столько говорят и которая поколеблена в войне с Японией, восстановить эту честь честным и правдивым словом, а не рисковать тем, что этот мундир, по первому призыву бюрократии, будет обогрен народной кровью. Но глухи были гг. офицеры и избегали

моих разговоров с ними, они сторонились меня, как опасного собеседника.

Тогда я собрал из них несколько человек наиболее подходящих, и мы составили “союз офицеров — друзей народа”. От имени этого союза, тотчас после Цусимского погрома, я разослал по всем судам, *командирам и адмиралам* свое воззвание, в котором еще и еще уговаривал их подать петицию государю. Воззвание читалось, как мне передавали, переписывалось, с ним многие соглашались, но не рискнули гг. офицеры. Слишком прочно сидела в них боязнь за свою карьеру, слишком слабо было в них чувство долга”.

Как мы видим, Шмидт ждал и *верил*, что спасение и освобождение родины может прийти сверху. Он насквозь пропитан иллюзией, что всему виной “льстивая и преступная бюрократия” и до социального значения русской революции он не додумался. В этом отношении характерен фигурирующий *в обвинительном акте по делу о крейсере I ранга “Очаков”* план защиты себя Шмидтом на суде, предполагавшемся после выступлений его в октябрьские дни. Там под рубрикой “Моя политика в прошлом” говорится: “Надежда на обход приближенных государя, доклад правды”. Этими словами он указывает, конечно, на свои монархические иллюзии, на надежду, что, устранив губительное влияние на царя окружающей трон клики, возможно просветить Николая о действительном положении страны и настроении русского общества и убедить его переменить политику. Естественно, что с такими взглядами он обращался со своей агитацией не к матросской массе, слишком склонной к бунту и восстанию, а к “командирам и адмиралам”. Но “союз офицеров — друзей народа” оказался мертворожденным детищем.

О других сторонах деятельности Шмидта в это время и до октября мы знаем очень мало.

Из его писем к З. Р. видно, что он сотрудничает в радикальной газете того времени “Сын Отечества”, но уже в

конце сентября осторожность этой газеты отталкивает его от себя. Он писал даже в “Революционную Россию” — заграничный орган партии социалистов-революционеров, но потом убедился, что партией этой “неправильно поняты рациональные пути к перевороту”.

Сталкиваясь через своего сына, реалиста шестого класса, с учащейся молодежью г. Севастополя, Шмидт с большим увлечением пытался развивать эту молодежь, вмешивался в их борьбу с начальством и благодаря этому пользовался среди них большой популярностью.

Внутренняя работа, работа над собой и своим мировоззрением должна также быть отмеченной у него в этот период. Он работает над рабочим вопросом; собирается в то же время читать публичные лекции на социологические темы: 1) Влияние женщин в жизни и развитии общества; 2) Семья, ее формы и история; 3) Крейцера соната. В связи с этими планами он мечтает, если лекции будут иметь успех, использовать сбор от них на поездку к голодающим, чтобы устроить столовую для них.

3. Расцвет личной жизни.

Параллельно с прослеженным нами периодом жизни Шмидта, как общественного деятеля, замечательную метаморфозу испытывала также и его личная жизнь.

Наконец, порвался его каторжный брак. Его бывшая жена, озлобленная и ненавидящая, не брезговавшая в своем озлоблении даже доносами на политическую неблагонадежность мужа, уехала из Севастополя. Шмидт стал по-новому устраивать свою жизнь. Центральным интересом его личной жизни становится сын, делу воспитания которого ему хотелось посвятить себя целиком.

Отца и сына связывала горячая любовь. Это было больше, чем просто родительское чувство, с одной стороны,

и сыновняя привязанность — с другой. Огромное место в их отношениях занимала дружба, сглаживавшая даже разницу в возрасте и житейском опыте. “Он мой друг, сын, брат и, мне кажется, что я заменяю ему даже мать, — пишет Шмидт. Я горжусь нашими отношениями. Он — моя бесспорная цель и смысл жизни”.

Летом 1905 года Шмидт командирован со своим миноносцем на Дунай. Жизнь мирно протекает между служебной деятельностью и берегом. А берег — это захолустный городишко Измаил, в котором и общества подходящего не найти. Два-три знакомства, поверхностных, случайных, и это — все.

В этом вынужденном внешнем одиночестве острее встают *свои* внутренние запросы. Обостряется сознание неудачной личной жизни.

В одном из писем Шмидта, дающих богатейший материал для изучения его личности и вообще представляющих собой единственный в своем роде человеческий документ, есть такие характерные строчки:

“Я помню года 4 тому назад на передвижной выставке была мало кем замеченная, но глубокая по своему замыслу картина. Она названа была “Осень”. Серый холодный свет осеннего дня уныло освещает комнату. У окна, почти упершись лбом в тусклое стекло, стоит мужчина. Легкая седина серебрит его виски; уныло устремлен его взор сквозь стекло в серую даль. Около сидит на задних лапах большая кроткая собака и сочувственно смотрит в глаза своему одинокому хозяину. Осень на дворе, осень в душе, страшная, холодная осень жизни”.

Такую одинокую осень переживал Шмидт. В нем с острой силой поднимался душевный голод неудачника, глодал его мозг, разрывал его сердце. А по натуре своей он не принадлежал к числу тех, кто может и умеет устранить пустоту личной жизни, заменяя ее более широкими интересами. Он не мог и не умел быть одиноким. Только в

общении с близким человеком, при поддержке любящей души расцветали обильно заложенные в нем дарования, и при личной удовлетворенности приобретали большой смысл общественные интересы. Жизнь, как мы видели, не баловала его личным счастьем.

В этом состоянии находился он, когда необходимость устроить семейные дела сестры, побудила его спешно, без разрешения начальства, оставить свой миноносец и ехать в Керчь, оттуда в деревню, где находилась его сестра. Во время пребывания от поезда до поезда в Киеве, Шмидт посетил бега и там увидел женщину, остановившую своей внешностью его ищущее внимание. Это была З. И. Р. В тот же день в поезде на пробеге между Киевом и Дарницей, очутившись случайно в одном вагоне с З. И. Р., он вступает с нею в разговор, в конце которого просит у нее разрешения написать ей. Так берет свое начало замечательная книжка “Писем Шмидта к З. И. Р.” и так начинается его последняя любовь.

Эти письма охватывают промежуток времени с 24 июля до 28 декабря, т. е. пять месяцев. Затем Шмидт снова увидался с женщиной, которую он полюбил на расстоянии, смутно помня ее физический облик и сотворив образ ее души отчасти по ее письмам к нему, но, главным образом, из своей ищущей идеала фантазии. Роман кончился трагически в каземате Очаковской крепости, в час рассвета весеннего дня на о. Березани. Это настоящий большой роман, захватывающий своей психологической сложностью, увлекающий своими радостями и страданиями.

Шмидт совершенно правильно отмечал в себе при наличии большой силы чувства и убежденности, способных поставить его во главе толпы и вести ее, отсутствие выносливости. “Все, что я делаю, это не глухая, упорная, тяжелая борьба, а это фейерверк, может быть способный осветить другим дорогу на время, но потухающий сам... Бывают минуты, когда я готов казнить себя за то, что нет выносливости во мне”.

Одинокий и чувствующий свою слабость, он ищет поддержки и опоры в женщине чуткой и нежной, могущей одним прикосновением любящей руки укрепить колеблющиеся силы. И когда он находит или ему кажется, что находит, эту поддержку, тусклые и серые краски его внутреннего мира сменяются живыми и яркими. “Вся жизнь залилась каким-то светом, радостью великой и чистой, радостью любви... Теперь передо мной яркая, сильная, лучезарная жизнь!” — восклицает он; убедившись, что чувство его встретило отклик. Его общественные идеалы кажутся ему проникнутыми этим новым чувством; возрастают, удесятерятся силы вести борьбу за эти идеалы, а самая любовь его, чувство личное, возвышается до полной гармонии с той нужной и полезной людям жизнью, которою он теперь хочет жить. В голове роятся широкие планы. Вера в собственные силы и в свое призвание быть вождем достигает апогея.

В одном из писем, уже окрыленный ответной любовью, он говорит, что были моменты, когда он мог бы кончить самоубийством, если бы эта любовь-переписка прервалась “Я пробовал, — пишет он 3. Р. уже 4 ноября, — силой воли отбрасывать хоть на минуту непрерывную мысль о вас, и получилось что-то страшное — пустота душевная, мрак и страх перед жизнью. Вся-вся сила, вся жизненная энергия, *вся любовь к делу и служение народу без вас мертвы...*”

Этих немногих строчек достаточно, чтобы показать, насколько в сознании самого Шмидта его личная жизнь определяла собою его общественную деятельность. Та страшная, почти сверхчеловеческая энергия, которую он проявлял в октябрьские дни и в дни восстания, в большой степени питалась этим расцветом личного чувства.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Октябрьские дни.

1. Октябрьская забастовка. Манифест 17-го октября.

Наступили великие октябрьские дни. Они были подготовлены всем предшествующим движением. Идея политической забастовки, как средства дезорганизовать власть, в течение всего протекшего периода распространялась все шире, и, наконец, число отдельных стачек, густою сетью покрывших страну, стало так велико, что стихийно, независимо от воли руководивших движением групп, превратилась в единую всеобщую политическую забастовку. Отдельные проявления недовольства, объединяясь и сливаясь по всей стране, создали революцию.

Пролетарское орудие борьбы — стачка становится орудием всеобщим, общенациональным, как бы свидетельствуя, что пролетариат возглавляет и направляет революционное движение. Но стачечное движение в России в 1905 году почти не опиралось на классовые профессиональные организации пролетариата, — условия политической жизни в России исключали сколько-нибудь прочное существование таких организаций. Кроме того, происходившие в 1905 году стачки диктовались не отдельными интересами профессий или групп, которые они охватывали, но общим положением вещей в стране, включая сюда экономическое положение рабочих, и той атмосферой революционно-политического брожения, которая у рабочих проявлялась острее и глубже, чем у других групп. Благодаря этому общему брожению, выдвинутая пролетариатом форма борьбы нашла восторженное признание среди таких слоев и групп населения, которые по своему социальному положению, по своим целям и по своему политическому настроению

были далеки от пролетариата. Еще в первую стачечную волну (в январе—феврале) стачка распространилась не только на такие близкие к рабочим слои, как разного рода служащие и торговый пролетариат, но также на студентов высших учебных заведений, профессоров, учащихся средних учебных заведений. Потом бастовали врачи, адвокаты, инженеры, судейские чиновники и т. д. вплоть до дворников и городских. Общность средства борьбы определялась также и сущностью цели — устранения абсолютизма, и до поры до времени коренные разногласия, имевшиеся между всеми участниками военных действий против абсолютизма, сглаживались, стушевывались. Царило, казалось, полное единение.

Центром октябрьской забастовки, нанесшей самое крупное поражение правительству, была железнодорожная забастовка. Развиваясь с 6 октября, забастовка через девять дней охватила все железные дороги Российской империи. К этому центру прилились все отдельные стачечные волны, гулявшие беспорядочно по стране, а от него разошлись новые им порожденные волны. Вся экономическая и политическая жизнь замерла. Правительственная машина была парализована. Дальнейшее сопротивление правительства становилось невозможным, и оно пошло на вынужденные уступки, опубликовав манифест 17-го октября.

“Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи” вынудили этот правительственный акт, по признанию самих его авторов. Его целью, непосредственным результатом, которого от него ожидали, было “прекращение сей неслыханной смуты”. Манифест *обещал* даровать стране “незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов”; он *обещал* “привлечь к участию в Думе... те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь

установленному законодательному порядку”; он *обещал* “установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий... властей”. В лучшем случае манифест был конституционной программой, формой, но содержания в виде конституционного закона в эту форму влило не было.

Этот факт ускользал вначале от сознания широких общественных кругов. В глазах этих кругов манифест знаменовал введение конституционного порядка.

Торжествующие земцы могли смотреть сквозь пальца на то, что в манифесте, якобы урезывавшем неограниченную царскую власть, царь по-прежнему именовался самодержцем и в нем отсутствовало упоминание об основном законе, т. е. конституции. Либеральные и радикальные органы печати увидели в обещаниях манифеста достижение своих заветных желаний и громко заявляли о своем доверии председателю новоиспеченного совета министров — Витте, стараясь закрыть глаза на его мрачную тень — Трепова.

Правильно оценить положение могли только социалистические партии, наполовину легализовавшиеся с объявлением манифеста и поспешно выводившие из подполья свои далеко не густые ряды. Положение прекрасно было характеризовано следующими строками в “Известиях Петербургского Совета Рабочих Депутатов”: “Дана свобода собраний, но собрания оцепляются войсками. Дана свобода слова, но цензура осталась неприкосновенной. Дана свобода науки, но университеты заняты войсками. Дана неприкосновенность личности, но тюрьмы переполнены заключенными. Дан Витте, но оставлен Трепов. Дана конституция, но оставлено самодержавие. Все дано и ничего не дано”.

Само правительство торопилось раскрыть глаза всем,

кто хотел только видеть. В самый день объявления манифеста в Петербурге была расстреляна мирная манифестация. Волна погромов, прокатившаяся в эти дни по всей России, охватила не менее 120 пунктов, оставив после себя десятки тысяч убитых, раненых, изувеченных. Все виды репрессий были пущены в ход.

В черных деяниях совершенно ясно была видна направляющая и вдохновляющая воля центральной организации. Политика правительства имела своей целью не столько, может быть, подавить движение, сколько запугать его умеренные элементы, оттолкнуть их от активных и таким образом облегчить себе расправу с последними. С другой стороны, необходимо было создать представление о том, что в стране царит анархия, чтобы ссылкой на нее прикрыть свое нежелание приступить к фактическому проведению в жизнь в законодательном порядке возвещенных свобод. В правительственных сообщениях эта цель высказывалась с мало затушеванной ясностью.

В эти дни призывы и угрозы правительства не могли еще возыметь всего желательного действия. Неизбежная инерция движения не позволяла проявиться тому расслоению освободительной армии, которое правительство предвидело и которое позднее действительно произошло. Удерживающие голоса умеренных группировок пока звучали изолированно и не встречали отклика. А крайняя левая видела неискренность обещаний и непрочность достигнутого. Задачи движения, выражавшиеся в программах-минимум социалистических партий, еще лишь предстояло осуществить, а кровавая черносотенная деятельность правительства только поддерживала сознание необходимости продолжать борьбу до окончательной победы.

2. Отношение к событиям. С народом.

До октябрьских дней Шмидт не был известен рабочему Севастополю, а среди матросов он был известен лишь немногим и то только как "хороший офицер". Несколько больше его знало интеллигентное общество, так как во время происшедшей за несколько месяцев перед тем забастовки учеников реального училища он стал на сторону "забастовщиков" и много хлопотал за них перед учебным начальством. Знали его как радикала также некоторые офицеры. Во время знаменитого "потемкинского восстания" в июне 1905 года в Севастополе даже распространился слух, что Шмидт примкнул к этому восстанию, хотя на самом деле он ему не сочувствовал. Таким образом, появление Шмидта перед широкою, массою оказалось неожиданным, и он предстал перед нею как человек новый, как, знатный иностранец, возбудивший в первые минуты только любопытство и удивление.

Порыв, охвативший всю Россию в октябре, захватил и его. И при первых раскатах всеобщей забастовки, Шмидт энергично принялся за дело. Уже в письме своем от 9 октября он предвидит дальнейшее развитие событий и с уверенностью говорят, что гроза не за горами. Он хочет целиком отдаться революции. Но об участии в ней в лейтенантских погонах он еще не помышляет. "Я смотрю на выход свой из военного флота, — пишет он, — как на уход на войну". В качестве арены своей будущей деятельности он избирает коммерческий флот, который, по его мнению, является "одним из могучих механизмов, способным служить и падающему правительству и восставшему народу". В Одессе, ему казалось, его ждали матросы этого флота, среди которых не было подходящего человека, способного объединить их и руководить ими. Он считал, что призван сделаться таким руководителем. Но чтобы эту свою роль выполнить с успехом, он хотел предварительно побывать в Москве, чтобы связаться с центром. Главным действующим лицом в этом центре он считает,

невидимому, Милюкова, так как о необходимости свидеться и переговорить с ним не раз говорит в письмах этих дней. Он представляется нам здесь совсем зеленым новичком в революции, не заглядывающим за кулисы легальной прессы, судя по которой Милюков действительно мог предстать непривычным глазам в виде “вождя революции”.

Жизнь, однако, не ждала. Каждый протекший день приносил известие о стольких событиях, сколько в обычное время не случилось и за месяц и за два... 11-го октября Шмидт уже констатирует: “Остановить движение теперь невозможно даже крупными уступками. Время потеряно. Поздно. Мы стоим накануне грозных дней. Не пройдет и года, как мы провозгласим демократическую республику”.

Он лихорадочно принимается за работу. Его усилия направлены к тому, чтобы побудить коммерческий флот присоединиться к забастовке. Он пишет своим друзьям в Одессе “несчетное количество писем”. “Весь ум, весь талант, вся сила слова, порожденная важностью минуты, ушли на эти письма к матросам, и они забастовали”, — с торжеством подводит он итог этой своей работе.

Он пишет проникновенное письмо к учащимся старших классов средних учебных заведений, в котором приветствует “стремление юности встать в честные ряды освободительной армии”. В этом письме мы читаем следующие строки, ярко характеризующие духовный подъем Шмидта: “Мы, родители, сами обязаны стоять в рядах людей, готовых отдать жизнь свою за освобождение измученной России, и мы не можем, мы не имеем права скрывать от вас это. Бывают минуты в жизни народов, когда каждый должен отказаться от всех своих личных интересов и привязанностей, забыть свою личную жизнь и твердо идти к одной, общей для всех, великой неотложной цели, идти до конца”.

Накануне получения в Севастополе манифеста Шмидт с успехом выступает перед интеллигенцией, разъясняя цель и

значение всеобщей забастовки. В день получения манифеста он предполагал выступить на таком же собрании с лекцией о всеобщем избирательном праве. Но получилась телеграмма, и Шмидт говорит речь на многотысячном митинге. Это было его первое выступление перед массой. "Я говорил, — рассказывает он, — о том, кто и как завоевал свободу и кто и как может ею воспользоваться, *если мы, рабочие, не доведем своих требований до конца*". Он, как мы видим, уже не отделяет своего дела от дела рабочих, он понял, что этой первой победой революция обязана прежде всего рабочим.

Свои переживания в этот первый день свободы он передает следующим образом:

"Пришло 17 октября, не ослаб русский рабочий. Спасена, отвоевана Россия.

Я бросился в редакцию газеты, прочел телеграмму и там же смешался с рабочими типографии. Мы вместе с ними впервые огласили Севастополь нашим "ура!" Слишком много страданий вынесла душа за последние годы слишком велико было счастье победы.

Я не мог и не хотел отходить от рабочих. Они странно и с недоверием смотрели на меня из-за моей формы, но сильна была моя благодарная любовь к ним и они скоро поняли чуткой душой своею, что я весь — всегда был, есть и буду — с ними. И я стал все чаще слышать от них ласковое и доверчивое слово "товарищ"... Спасибо вам, рабочие! Не будь вас здесь, я был бы сиротлив и одинок в эти лучшие минуты жизни.

Наши красные знамена весело развевались, гремел на бульваре оркестр "марсельезу" — победную песнь над тиранией, и мы стояли под своими знаменами с обнаженными головами. Счастлив тот русский человек, который мог пережить такие часы, пережить их среди тех, чьими силами спасена Россия. Я стоял с ними, с товарищами, с обнаженной головой, близкий им, как никогда, с глазами, полными слез радости, под нашими победными знаменами.

И вот подошел ко мне флотский офицер, капитан 2-го ранга С. Странно было видеть его покрытую фуражкой голову и его презрительную улыбку. Так дерзкий богохульник входит в храм молящихся, чтобы оскорбить их веру.

Этот офицер обратился ко мне с вопросом, не скрывая негодования: “Отчего играют французский гимн, а не русский?” Я даже понять не мог его вопроса, и мне показалось, что он сам не русский, а французский, или какой-нибудь иной офицер! Верно смешон я был в своем полном недоумении. Я все же постарался объяснить, что сегодня Россия сбросила иго тирании, и что мы, все русские люди, слушаем свою песнь победы, и что каждый имеет право обнажать голову перед тем, перед чем находит нужным.

Этот офицер, окинув меня величественным и презрительным взглядом, сказал: “А я имею право с вами раззнакомиться” — “Да, да, это так должно быть!” — с радостью отвечал я. Я ответил не думая, инстинктивно, но теперь я вижу, что я правду сказал ему. Я должен был с ним раззнакомиться. Мы так же далеки были и есть друг от друга, как далеки гг. офицеры флота от русского народа, их вскормившего.

Потом мы двинулись всей толпой, — нас было много тысяч по Нахимовскому с оркестром. Встречались офицеры, и ни один из них не обнажил головы перед великим победным шествием России к счастью и свободе.

Я не мог не обращаться к ним, я говорил: “Гг., не стыдитесь, почтите великий, святой праздник освобождения России!” Они смотрели на меня как-то странно, удивленно, но некоторые, которых я знал (один был между ними, на словах, даже завзятый террорист), стыдились своей робости и спешили отойти от меня”.

В этот же день поздно вечером Шмидт — среди толпы народа, манифестирующего у тюрьмы с требованием освобождения политических заключенных. Он успокаивает

нетерпеливых, предлагающих силою овладеть тюрьмой, и ведет переговоры с администрацией. Ему обещают, что через 20 минут политические будут освобождены.

Толпа в спокойном и радостном ожидании обещанного мирно стоит перед воротами тюрьмы. Внезапно ворота распахиваются и военный караул, выстроившийся внутри тюремного двора, без предупреждения дает залп. Восемь убитых, свыше пятидесяти раненых⁴).

Этот подлый расстрел безоружных в день объявления свободы вызвал сильное возбуждение в городе. На Шмидта он произвел потрясающее впечатление. В эту же ночь он собирает заседание городской думы, на котором на правах гласного заседает 18 часов сряду.

Утром 19-го на Приморском бульваре состоялся митинг, устроенный местной социал-демократической организацией. Было постановлено требовать удаления и наказания властей, совершивших кровавое преступление у тюрьмы, были выбраны депутаты от народа, которые должны были присоединиться к заседавшей городской думе, чтобы совместно с нею, если она согласится с намеченной на митинге программой, или против нее, если она откажется, осуществить введение в жизнь нового порядка. Шмидт на этом митинге не присутствовал, но его имя было названо, и он был избран также депутатом.

3. В городской думе.

Об участии Шмидта в заседании городской думы сохранился рассказ случайного очевидца, человека, стоявшего вне левых партий, хотя и сочувствовавшего движению. Это — воспоминания кн. С. Урусова.

“Прения понемногу двигались вперед, и уже начали

⁴) В брошюре Гелиса “Ноябрьские дни в Севастополе” (стр. 16) этот эпизод севастопольских событий передан неверно. Толпа не “сломала калитки” и не “ворвалась в тюрьму”, а именно спокойно ждала освобождения политических. Расстрел толпы также был произведен не сзади подоспевшей на помощь осажденной тюрьме воинской частью, а из внезапно раскрытых ворот тюрьмы.

обрисовываться в общих чертах проекты постановлений: посылка телеграммы новому правительству с жалобой на местную администрацию и ходатайством о скорейшем применении начал манифеста к лицам, пострадавшим за преданность этим началам; посылка депутации к градоначальнику с подробным изложением взгляда думы по поводу необходимости принять манифест к действительному руководству. В это время слова попросил молодой человек, одетый в черный сюртук с погонами и медными пуговицами”.

Это был, как узнал от публики рассказчик, лейтенант Шмидт.

“Я не могу, к сожалению, — продолжает С. Урусов, — точно передать содержание речи, произнесенной Шмидтом необыкновенно горячо, с большим подъемом и ярким ораторским талантом, притом без всякой рисовки и аффектации. Почему-то выражение его лица, звук его голоса отвлекали внимание, мешая сосредоточиться и следить за ходом его мыслей. Какие-то неуловимые оттенки в его фигуре и тоне заставили меня сразу почувствовать, что перед нами находится человек не вполне нормальный, потерявший душевное равновесие, с чувствительностью чрезмерно повышенной. Шмидт весь горел каким-то внутренним пламенем, смотрел куда-то вдаль, мимо лиц и предметов, как будто спеша навстречу чему-то торжественному, прозреваемому им в будущем. Видно было, что все соображения практического характера, вопросы своевременности, осуществимости и личного интереса для него не существуют... Речь свою он произнес без запинки, слова у него как будто становились в очередь, без всякого напряжения мысли...

Насколько я помню, Шмидт провел, между прочим, ту мысль, что высшее правительство доказало 17 октября свое желание вести Россию по новому пути, и что проявленная накануне севастопольской администрацией жестокость

настолько же противоречит намерениям и воле создателя манифеста, насколько она вообще возмущает нравственное чувство собравшихся представителей города. Это стремление оратора отделить действие исполнителей от воли носителя верховной власти я хорошо запомнил, как и всю ту часть его речи, в которой звучали ноты радости и надежды, сказывалась любовь к родине, вера в славную будущность России, преданность и доверие к русскому царю. Идеализмом было пропитано и то предложение, которым оратор закончил свою речь. Не оспаривая необходимости для думы подать проектированную жалобу, но вместе с тем не придавая большого значения уголовной ответственности, Шмидт задумал применить к севастопольской администрации такую меру, которая в его глазах представлялась суровым возмездием: он предложил думе заклеить особым постановлением” действия градоначальника, полицмейстера и еще некоторых чиновников и, переписав это постановление “на пергаменте”, вставить его в раму и повесить на стене той залы, в которой мы находились, “на вечные времена”.

Дума единогласно приняла предложение Шмидта, должным образом запротоколировала его, но и только. Имена убийц не были вывешены на стене, и “будущее потомство”, к которому был устремлен взгляд Шмидта, не “поучалось примером, как свободные граждане клеймят позором посягателей на неприкосновенность личности свободных граждан” (слова постановления). Это ведь был “идеализм”.

Когда Шмидт кончил свою речь, в зал заседаний явились депутаты, избранные на митинге; их было до тридцати человек. Заседание, носившее до сих пор вполне “приличный” характер, несмотря на бурную речь Шмидта, сразу стало революционным.

Депутаты, внесшие в спокойный зал думы атмосферу народного брожения, помимо требований местного характера, вроде удаления и предания суду властей, виновных

прямо или косвенно в убийстве, учреждения городской милиции и пр., выдвинули ряд требований общероссийского характера. В настроении гласных стала происходить перемена. Они не могли идти так далеко, как это от них требовалось пришедшими "с улицы" никому неизвестными людьми. "Обнаружилась, как говорит С. Урусов, основная разница во взглядах обеих сторон. Одни считали возможным действовать в тесном круге местных общественных вопросов, считая свое собрание учреждением, ограниченным известными законными рамками; другие признавали старый порядок сокрушенным до основания и хотели немедленно приступить к строительству".

Здесь, в одной из картин развертывавшейся по всей России революции, столкнулись в неизбежном конфликте две силы этой революции — пролетариат в лице избранных им представителей социал-демократов и либеральная буржуазия. Законы, на которые ссылались "отцы города", для депутатов были пустым звуком, так как эти законы они считали уничтоженными уже самым фактом своего появления в этом зале. Гласные-цензовики опирались на законность и без соответствующего разрешения начальства не хотели идти дальше тех границ, за которыми кончалось их привилегированное положение.

В конце концов делегаты заявили, что старые законы, выработанные без участия народных представителей, народ не может признать и что гласные думы напрасно считают себя представителями города, так как они являются избранными лишь небольшой группы состоятельных горожан, и население в целом их не выбирало.

— Да что же мы здесь из себя представляем: гостей или уполномоченных населения?! — с негодованием воскликнул один из депутатов, социал-демократ.

Другой указал на стоявшую под окном толпу и торжественно произнес:

— Пять тысяч народа ждет здесь вашего ответа. Мы

принесли вам их требования. Если они не будут немедленно удовлетворены, то мы за последствия не ручаемся. Мы согласны обсуждать вместе с вами предложенную программу, но не иначе, как в качестве полноправных членов этого собрания. Другая роль не соответствовала бы достоинству народных избранников.

Гласные должны подчиниться. Делегаты народа, образовавшие большинство, взяли в свои руки власть. Шмидт, присутствовавший при рассказанном инциденте, целиком примкнул к социал-демократам.

Эта "власть народа", длившаяся всего несколько дней, пока не оправились правительственные власти и снова не появились на сцене, никаких существенных изменений произвести не успела.

Она выразилась, главным образом, в учреждении народной милиции взамен упраздненной полиции, при чем, как свидетельствует кн. С. Урусов, "бывший администратор", порядок был образцовый.

4. Речь на кладбище.

20 октября состоялись торжественные всенародные похороны убитых.

Депутаты потребовали от градоначальника, чтобы на пути следования процессии не присутствовал ни один полицейский чин, чтобы народ не видел ни одного полицейского или военного мундира. Это было обещано. Но на пути процессии у какого-то казенного здания стояли две пушки. И хотя они стояли там давно и только для вида, но народ не пожелал видеть образцов орудий, которые были на него направлены. И пушки немедленно были убраны.

Осложнения возникли только в связи с порядком похорон одного матроса и двух солдат Брестского полка, находившихся в числе убитых 18 октября. Они пали за

народное дело, не как военные, а как граждане, и естественно было, что усиленная революционерами городская дума пожелала хоронить их вместе с “вольными”. Военная власть этому воспротивилась. На имя городского головы вице-адмирал Чухнин прислал короткое, но ясное предложение: “Прошу севастопольского городского голову и думу не вмешиваться не в свои дела”. За трупами военных был послан вооруженный отряд, которому приказано было, в случае отказа выдать их, овладеть телами силой оружия. Но и это приказание распоряжением из Петербурга было вскоре отменено, и в распоряжение думы был даже предоставлен военный оркестр.

Похороны вылились в грандиозную демонстрацию с числом участников до пятнадцати тысяч человек. Главную массу этой процессии составляли рабочие севастопольского порта, городские ремесленники и интеллигенция, но также были заметны в немалом количестве солдаты и матросы.

На кладбище Шмидтом была произнесена вдохновенная речь — “Клятва”, облетевшая всю Россию и сделавшая его имя широко известным. Вот эта речь:

“У гроба подобает творить одни молитвы, но да уподобятся молитве слова любви и святой клятвы, которую я хочу произнести здесь вместе с вами.

Когда радость переполнила души усопших, то первым их движением было идти скорее к тем, кто томится в тюрьме, кто боролся за свободу и теперь, в минуты общего великого ликования, лишен этого высшего блага. Они, неся с собой весть радости, спешили передать ее заключенным, они просили выпустить их, и за это были... убиты. Они хотели передать другим высшее благо жизни — свободу, и за это лишились самой жизни.

Страшное, невиданное преступление! Великое непоправимое горе!

Теперь их души смотрят на нас и вопрошают безмолвно: что же вы сделаете с этим благом, которого мы лишены

навсегда, как воспользуетесь свободой, можете ли вы обещать нам, что мы последние жертвы произвола?

И мы должны успокоить смятенные души усопших, мы должны поклясться им в этом”.

Оратор остановился, окинув взглядом десятки тысяч окружавшего его народа, как бы с вопросом, — кто со мной?.

Гробовая тишина, напряженное внимание царили кругом.

“Клянемся им в том, — зазвенел окрепший его голос, — что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав”.

“Клянусь”, — проникновенно сказал оратор, подняв обе руки, как бы призывая само небо в свидетели этой могучей клятвы.

— Клянусь, — пронесся за ним многотысячный голос народа.

“Клянемся им в том, что всю работу, всю душу, самую жизнь положим за сохранение свободы нашей.

Клянемся им в том, что свою свободную общественную работу — мы всю отдадим на благо рабочего, неимущего люда.

Клянемся им в том, что между нами не будет ни еврея, ни армянина, ни поляка, ни татарина, а что мы все отныне будем равные, свободные братья великой, свободной России.

Клянемся им в том, что доведем их дело до конца и добьемся всеобщего избирательного, равного для всех, права.

Клянемся им в том, — звенел сталью голос оратора, — что, если нам не будет дано всеобщее избирательное право, мы снова провозгласим великую всероссийскую забастовку. — Клянусь.” — окончил оратор.

— Клянусь!—раскатилось громом по всем окрестностям.

“Это был экстаз вдохновения, — говорит о своей речи сам Шмидт. — Я сам не узнал своего голоса, он стал каким-то твердым и не моим. Когда я кончил, и народ повторял за мной, как загипнотизированный, свое могучее народное

“клянусь”, меня обнимали и целовали совершенно незнакомые люди, интеллигенты и рабочие. Один адвокат сказал мне: “Вы трибун, за вами пойдут сотни тысяч людей!”

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Первый арест.

1. Вице-адмирал Чухнин. Арест Шмидта.

События в Севастополе разыгрывались до сих пор при неучастии в них царского сатрапа — главного командира Черноморского флота и портов Черного моря, вице-адмирала Г. П. Чухнина. Как раз в эти дни морской министр устраивал разные эволюции судов флота в море, желая этим делом вытравить у моряков тот особый дух, который привел “к чрезвычайным преступлениям команд Черноморского флота”, как писал министр в одном из своих приказов. Под чрезвычайными преступлениями имелись в виду восстания и беспорядки на кораблях “Князь Потемкин Таврический”, “Георгий Победоносец”, “Синоп” и “Прут”.

Флот находился в море, в гавани оставался только знаменитый “Потемкин”, на котором красовалась огромная заплатка из парусины, скрывавшая его мятежное имя.⁵⁾ Чухнин отсутствовал вместе с флотом.

Чухнин был известен своей необычайной грубостью и жестокостью. Он был непосредственным виновником ряда казней.

Особенно кошмарное впечатление произвел расстрел матросов Петрова, Черного, Титова и Адаменко, осужденных

⁵⁾ Через несколько дней он снова вступил в с яды флота под именем “Святителя Пантелеймона”.

по делу о беспорядках из транспорте “Прут”. В этом деле Чухнин в порыве кровожадности присвоил себе власть, принадлежавшую по закону только царю. Военно-морской суд, вынесший приговор по делу о прутовцах, постановил ходатайствовать перед царем о смягчении участи осужденных, в том числе и приговоренных к смертной казни, причем подробно мотивировал свое ходатайство. Никто не сомневался в том, что царь помилует осужденных. Но Чухнин не направил постановления суда по адресу, а самолично решил дело. “Ходатайство суда я оставляю без последствий” — гласила его резолюция, и казнь состоялась 24 августа. Его ненавидели все. Известие о покушении, произведенном на него 27 января 1906 года эс-эшкой Измаилович, ранившей его несколькими выстрелами, обрадовало решительно всех. Но Чухнин оправился от ран, а героическая женщина без суда и следствия была расстреляна по приказанию адмирала. 28 июня 1906 года Чухнин был, наконец, убит матросом Акимовым, выстрелившим в него из винтовки.

Прибыв в Севастополь после описанных нами событий, Чухнин пришел в ярость. Город находился во власти мятежников, по улицам его разгуливали патрули из рабочих, а полиция вынуждена была прятаться. К тому же Петербург своим распоряжением о разрешении городской думе хоронить военных, убитых 18 октября, проявил явную слабость и сыграл на руку беспорядку. Этому нужно было положить конец. Особенно необходимо было расправиться с дерзким лейтенантом Шмидтом, своими выступлениями позорившим славное звание офицера и подрывавшим авторитет власти.

С этой целью Чухнин собрал совещание из высших военных и гражданских властей, на котором под его давлением был выработан план “реставрации”. Был заготовлен приказ, согласно которому войска должны были без предупреждения выйти на улицы и с оружием в руках восстановить порядок. Должна была вновь пролиться кровь

мирного населения. К счастью, в Севастополе в это время находился независимый и имевший большие связи при дворе человек, который но без труда, не столько уговорами, сколько угрозами, принудил рьяного адмирала повести дело потише.

Со Шмидтом же адмирал расправился без затруднений.

20-го октября вечером беспокойный лейтенант был вызван в штаб флота, где контр-адмирал Данилевский после сердитого внушения, арестовал его.

Шмидт был посажен на броненосце “Три Святителя” в полутемную крохотную каюту, освещенную круглые сутки электричеством, и воздух в которую накачивался насосом. Пребывание в этом узилище в течение нескольких дней сильно отразилось на его здоровье. Одновременно с арестом было начато следствие.

2. “Пожизненный депутат рабочих”. В ожидании суда.

Настроение Шмидта не было угнетенным. В эти как раз дни он узнал, что чувство его к З. Р. разделено. С другой стороны, сознание исполненного долга и уверенность, что арест его встретит бурю негодования и только усилит в его согражданах чувства, которым они в значительной степени были обязаны ему, делали это заключение нравственно легким. “Мои слова и дела, — с гордостью говорит он, — были совершены мною при свете дня, и мне рукоплескал народ!”

Особенно поднялось настроение Шмидта, когда он узнал, что на митинге севастопольских рабочих его избрали “пожизненным депутатом”. Это избрание — свидетельство уважения и сочувствия офицеру, пострадавшему за их дело, дало повод Шмидту написать следующие строки:

“Я — пожизненный депутат севастопольских рабочих. Понимаете ли, сколько счастливой гордости у меня от этого

звания. “Пожизненный” — этим, они хотели, значит, меня выделить из своих депутатов, подчеркнуть мне свое доверие на всю мою жизнь. Показать мне, что они знают, что я всю жизнь положу за интересы рабочих и никогда им не изменю до гроба. Вот какую великую честь они сделали мне. Я должен это ценить вдвое, потому что, что может быть более чуждым, как офицер для рабочих. Они сумели своими чуткими душами снять с меня ненавистную мне офицерскую оболочку и признать во мне их товарища, друга и носителя их нужд на всю жизнь. Не знаю, есть ли еще кто-нибудь с таким званием, но мне кажется, что выше этого звания нет на свете.

Меня преступное правительство может лишить всего, всех их глупых ярлыков: дворянства, чинов, прав состояния, но не во власти правительства лишить меня моего единственного звания отныне: пожизненного депутата рабочих.

О, я сумею умереть за них. Сумею душу свою положить за них. Ни один из них никогда, ни они, ни их дети не пожалеют, что дали мне это звание”.

Первые дни заключения Шмидт предполагал, что разъяренное его политической деятельностью начальство все-таки предаст его суду за политическое преступление. Эта мысль ему улыбалась. Но скоро ему пришлось разочароваться. От следователя он узнал, что его будут судить не на основании уголовного кодекса, а по военно-морским законам. А Чухнин на его докладной записке, в которой он требовал суда над собой за гражданскую деятельность, положил резолюцию: “Мне нет дела до общественной деятельности лейтенанта Шмидта, им совершено воинское преступление, за которое он должен нести ответственность”. Этим достигался обход объявленной только что амнистии, и в то же время наказание, грозившее Шмидту, усугублялось.

Видя полную невозможность добиться от своих тюремщиков гласного суда над собой, Шмидт решил привлечь на

свою сторону общественное мнение и с этой целью обратился к гражданам г. Севастополя с письмом, напечатанным во многих газетах. В этом письме он, между прочим, писал:

“...Граждане, помните, что я арестован за свободное слово после манифеста 17-го октября, помните это, и пусть это нарушение свободы произволом напоминает вам, что дело далеко не окончено, что нужны теперь последние усилия, чтобы овладеть раз и навсегда человеческими правами. Усилия эти должны выразиться действительным пользованием действительной свободой.

Всех, кому дорога свобода, кому дорого счастье страны, призываю, — помогите сделать суд надо мною гласным, в обширном помещении, при широком доступе всех слоев населения, при представителях органов печати... Скамья подсудимых превратится для меня в трибуну, с которой я нанесу последний тяжкий удар ненавистному режиму. У меня для этого достаточно сил. Помогите же мне и теперь же немедленно займитесь широкой оглаской происшедшего со мной. Помните, граждане, что мое дело — это дело народа; моя победа — это победа свободы над произволом”.

Шмидт надеялся, что под давлением общественного мнения администрация будет вынуждена сделать суд над ним гласным и свободным. Он все еще находился в опьянении первых “дней свободы”, ему казалось, что “дело борьбы с самодержавием уже кончено”. Отсюда целый ряд питаемых им иллюзий.

Он надеялся, например, что судьи предоставят ему полную свободу слова, так как при свободе печати его речи все равно будет широко оглашена. Суд, не желая окончательно отвернуться от правосудия и жизни, должен будет, по его мнению, признать, что статьи закона отжили свой век, и что существует только один закон — “закон долга, равно обязательный для всех без различия формы, одежды и положения”. Он даже представлял себе, что может случиться,

что научные истины, на которых покоились его убеждения, убедят и его судей, и ему удастся, раскрыв перед ними сущность социализма, “окрестить в свою веру кого-нибудь из судей”. “Я постараюсь начать издали, — мечтает он, — заинтересовать их и, таким образом, может быть, они и не остановят меня. О, если бы не остановили, то через час моей лекции они бы стали моими!”

Шмидт, несмотря на проделанные им опыты совершенно не учитывал элементарных истин. Забывая, что в ряды бойцов за свободу его самого привел ряд чрезвычайно сложных и отчасти необычных обстоятельств, что он был исключением, он думал, что одна только сила слова сможет преодолеть и косность среды, и предрассудки касты, и выгоды привилегированного положения. Но самое главное, чего он не учитывал, — это то, что старый порядок, орудием которого был бы суд над ним, если бы он состоялся, в эти дни после вынужденного отступления переходил в атаку.

3. Политическая программа и планы Шмидта.

От первых необычных успехов у Шмидта вскружилась голова, и он, моментами, мнил себя признанным вождем революции, обладавшим реальной силой. Свойственная его натуре неуравновешенность проявилась также и в его печатных выступлениях.

Его письмо “Объединяйтесь!” написано в тоне генерала от революции. В нем кратко изложена его программа, или, вернее, программа той партии, создать которую он намеревался.

Прежде всего он стремится установить, что социалисты в России разделились на две партии вследствие своей оторванности от народа. В этом виноваты, конечно, социал-демократы, потому что они “отворачиваются” от присущего будто бы русскому крестьянству взгляда, что “земля ничья —

божья” и в своем ослеплении чужой, “немецкой” теорией хотят “искусственно” воспитать из него сторонника собственности. Эта немецкая теория — экономический материализм; она “игнорирует психические факторы” и оттого “не может руководить практической деятельностью социалистов”. В своей полемике с социал-демократами Шмидт доходит даже до утверждения, что они “громоздят препоны к достижению социалистического государства в России”.

В чем вина социалистов-революционеров, из этой декларации не видно. Шмидт не согласен с ними лишь в вопросах тактики и оттого не может к ним присоединиться. Но в своих письмах он высказывается яснее, и мы видим из них, что он в основном и существенном с программой партии социалистов-революционеров согласен, а возражает лишь против “идиотских приемов пропаганды”, от которой “льется ненужная кровь”.

В положительной части программы Шмидта мы встречаем очень нелепо выраженные политические требования, бывшие в ходу не только у социалистов, но и у либералов. Требование республики здесь не формулировано, умалчивается и об учредительном собрании. Все усилия должны быть направлены к достижению всеобщего избирательного права.

К социализму Шмидт относился чисто пореформаторски: понятия социальной революции, диктатуры пролетариата и диктатуры пролетариата и крестьянства ему совершенно чужды. Хотя ему и казалось, что Россия, благодаря особому социалистическому мировоззрению крестьянства, стоит на пороге социалистического строя, но этот переход он представлял себе весьма постепенным. “Переход от капиталистического производства к социалистическому должен начаться передачей хотя бы части крупнейших предприятий капитала во владение общины на социалистических основаниях. Дальнейшее же

расширение социалистического производства следует предоставить естественному ходу вещей, ускоряемому законодательством”.

На почве этой программы Шмидт и призывает всех социалистов объединиться в одну “великую всероссийскую партию социалистов-работников”. В письме “Объединяйтесь” он не предлагает, конечно, себя в качестве вождя этой новой партии, но про себя он с полной серьезностью думает, что стать таким вождем — его призвание. “Если я за свою жизнь соединю и объединю русских социалистов, — писал он в одном из писем к З. Р., — то этим я сильно двину дело вперед и тогда могу спокойно умереть”. Шмидт, впрочем, предвидел, что объединить социалистов в одну партию очень трудно. И на случай неудачи в ближайшее время этого плана у него имелся другой. Это — временное, до введения нового строя, объединение с конституционно-демократической партией, если удастся сойтись с этой партией в аграрном вопросе.

Шмидт часто называет себя республиканцем. И теоретически он действительно предпочитал республиканскую форму правления ограниченной, конституционной монархии. Однако, на практике он чаще выявлял себя сторонником последней. В дни восстания и особенно на суде Шмидт выступает, как убежденный монархист. Если он в одном письме к З. Р. писал, что он не монархист, а в другом обещал, что “не пройдет и года, как мы провозгласим республику”, то в письме к сестре от 10 ноября этот республиканизм уже смягчен. “По политическим убеждениям, — пишет он, — каждый социалист — республиканец; я хотя и склонен сам больше к республике, но нахожу пока возможным проведение в жизнь социалистических форм при демократической конституции и выборном начале, проведенных по всем ступеням власти”.

Шмидт считал необходимым *подыгрывать* к несознательному монархизму крестьянства и армии. Он исходил из политической несознательности масс, шел ей навстречу и в

этом отношении очень нечужд был того политического авантюризма, который на этой почве проявлялся в 1905 году не только у таких одиночек, как он, но даже в политических выступлениях отдельных членов социалистических партий, особенно партии социалистов-революционеров.

Таким же по существу авантюризмом следует считать его ориентацию на конституционно-демократическую партию. По своему народническому мировоззрению он, конечно, не подходил к этой партии. Больше того, он прекрасно видел, что эта партия антисоциалистическая. “Деятельность Трубецкого и его партии (земских и городских деятелей) писал он по поводу смерти С. Н. Трубецкого — сыграла свою роль и теперь осталась позади движения... Близок момент, когда координирование социалистических партий с конституционными станет ненужным и невозможным. Социалисты скоро встретят в земской партии одну из самых сильных преград”.

Вся эта программа действия, все эти политические расчеты и планы проникнуты наивной непрактичностью, и непониманием действительной обстановки. Это планы; фантазера, случайно выдвинутого в вожди и преследующего свою давнюю беспочвенную мечту.

Жестокая действительность беспощадно сокрушила эти планы.

4. Освобождение. Накануне событий.

Шмидт был освобожден из-под ареста 3 ноября. Шум и возбуждение, вызванные этим арестом, несомненно оказали свое влияние. Обращение Шмидта было напечатано во многих газетах, его имя повторялось все чаще во всей оппозиционной прессе и обстоятельства его ареста и заключения использовались для агитации против самодержавного режима. В самом Севастополе на многолюдных

митингах непрестанно в самой резкой форме выставлялось требование об его освобождении. Чухнина посетила даже делегация из представителей города с требованием не только освободить Шмидта, но и вручить ему все полномочия для успокоения населения, так как в противном случае ни за что поручиться нельзя было. Чухнин возмутился, но все-таки выпустил “опасного агитатора”.

Немедленно по освобождении Шмидт оповестил о своем торжестве всю Россию телеграммой: *“Спасибо, товарищи, я снова в ваших славных рядах”*. И немедленно начал вести переговоры с местными организациями с.-д. и с.-р.; об осуществлении своих широких планов. Но социалисты, по его словам, отнеслись к этим планам “очень сухо”. Эту сухость он объяснял своей самодеятельностью и своим нежеланием “принимать участие в их партийных вздорных распрях”. На самом же деле представители партий, конечно, не могли признать в нем того вождя и реформатора, каким он пытался представить себя перед ними. Его личные заслуги могли быть очень велики, но это были заслуги немногих дней подъема, совершенно недостаточные для того, чтобы побудить людей, проникнутых партийным духом, идти вразрез с твердо намеченной и коллективно выработанной программой и тактикой.

Этот отпор раздражал Шмидта до крайности. Он не находит слов, чтобы заклеить этих ограниченных узких людей, занимающихся пустыми спорами, когда “минуты терять нельзя”.

Надвигались знаменитые ноябрьские дни в Севастополе. Шмидт не принимал участия в непосредственной подготовке предстоявших событий. Личные обстоятельства, с одной стороны, и широкие планы, с другой, удерживали его внимание в стороне от Севастополя, от волновавшихся матросов и солдат. Недовольство социал-демократической организацией, почти монополюсно руководившей революционным движением, поскольку о руководстве в те

дни можно вообще говорить, не позволяло ему ближе присмотреться к тому, что творилось. И затем Шмидт в эти дни находился под своего рода добровольным домашним арестом.

Сняв с него обвинение в “воинском” преступлении, власти тем не менее решили его изолировать на несколько дней и с этой целью извлекли из-под спуда похороненное было дело об утрате им казенных денег. Хотя потерянные Шмидтом деньги были уже возвращены, и ему было обещано, что никаких последствий этот незначительный случай иметь не будет, Чухнин приказал наказать его в дисциплинарном порядке. Ему было предложено отбыть двухнедельный арест на гауптвахте. Чтобы избавиться от этой новой неприятности, Шмидт сказался больным и не выходил из своей квартиры, ожидая со дня на день получения приказа об отставке.

В то же самое время Шмидту личным распоряжением Чухнина было запрещено присутствовать на митингах и “вообще заниматься агитаторством”, с угрозой, что он, если не будет повиняться, “немедленно же будет арестован и предан суду за неисполнение лично отданного ему приказания”. Скрепя сердце, подчинился он этому приказанию. Его страстно влекло на трибуну, выступить перед массой. “Понимаете ли вы, — говорит он, — как это мучительно — сидеть в неволе, когда я вижу, что я за два дня больше сделаю один, чем обе революционные партии вместе за мое отсутствие”.

Шмидт бомбардировал Петербург телеграммами, но отставки все не было. И дни протекали в мучительном бездействии. Нервная система расшатывалась до последней степени. Письма его, написанные в эти дни, говорят о бессоннице, об истерике, о сильных головных болях. “Я страдаю так сильно и так много работаю, что я, кажется, помешаюсь, — пишет он. — У меня так горят мозги, точно хотят расплавиться”.

События содействуют этому душевному состоянию. По стране разливается волна правительственного террора. С другой стороны, стихийная буря аграрного движения заливают поля. И душу Шмидта охватывает бешеная ярость против насилия сверху и ужас при мысли о неукротимой и слепой крестьянской ненависти, прорвавшей все плотины.

“Куда же они нас ведут? — восклицает он. — К страшной, небывалой в истории народов кровавой революции. Их дорога направлена только к этому, да теперь, кажется, и повернуть-то поздно. Перешли грань: не успокоит деревню и учредительное собрание, порвалась струна в мужицкой душе, не остановить, кажется, уже ничем страшной темной массы крестьянства, вся тьма и дикость которого так бережно охранялась сотни лет от луча света. Эта темнота обрушится на всех, на правых и виноватых, и похоронит тех, кто случайно попадет по пути”.

Шмидт — романтик в революции. Изнанка революции, забрызганная кровью и закопченная пороховым дымом, неизбежная и страшная, не по его слабым нервам и мягкой душе. И оттого он искал в революции бархатных путей и закругленных линий. Оттого он против “идиотских приемов пропаганды”, от которой льется “лишняя ненужная крови, оттого, а не из соображений политической тактики, он против террора, оттого он с горячей убежденностью часто говорит: “Насилие — средство наших врагов... Насилие — не наше средство”.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Севастопольские события.

1. Характер и причины восстания.

Севастопольское восстание, как и все военные восстания, сопровождавшие в 1905 году период нарастания революционного движения, возникло стихийно, без предварительного соглашения и прямого призыва со стороны революционных организаций. Из этого факта необходимо исходить при оценке его.

Социалистические партии, только что вышедшие из подполья, не могли охватить своим влиянием принимавшие участие в революции массы, они не обладали для этого достаточными кадрами и достаточными средствами. Революция происходила с их участием, но без их преобладающего руководства. Массы до революции в отдельных пунктах и частично только подвергались “революционной обработке”, но при всенародном характере движения эти подготовленные элементы обладали крайне ограниченным кругом воздействия. Октябрьская забастовка в сознании участвовавших в ней масс не была актом революции, низвержения самодержавного режима; самый политический ее характер улавливался очень слабо и осознавался лишь в процессе движения, часто только после первой победы. Поэтому движение, революционное по своей природе, субъективной революционностью не обладало. Поэтому в самый революционный момент 1905 года, во время декабрьского восстания в Москве, борются с оружием в руках в первую голову члены революционных организаций и рабочие наиболее распропагандированных заводов, и лишь затем в числе участников восстания в относительно ничтожном количестве мы видим представителей той “массы”, которая одна только могла бы дать победу движению. Революционная незрелость масс и кратковременность общественного подъема — таков общий характер революции 1905 года.

Таким именно характером обладало и Севастопольское восстание 11 — 15 ноября 1905 года. Главным, отличительным признаком его была политическая неподготовленность массы его участников. Подобно восстанию на “Потемкине” и др. судах в июне 1905 года, подобно Кронштадтскому восстанию 26 — 28 октября 1905 года, и здесь основным двигателем восстания было не сознательное стремление низвергнуть самодержавие, а недовольство своим экономическим, служебным и правовым положением, при чем зависимость этого положения от политического режима сознавалась лишь единицами. Конечно, это недовольство в очень сильной мере питалось, поддерживалось и усиливалось революционным движением всей страны; это движение создавало благоприятную атмосферу для вспышки, но в основе, тем не менее, в настроении матросской и особенно солдатской массы (за исключением саперной роты, распропагандированной гораздо больше), преобладало недовольство, так сказать, профессиональное.

Царь и бог для среднего матроса были святынями. Понятия присяги и воинского звания, андреевский крест на военном флаге и прочие фетиши военной службы, вдолбленные с новобранства, тяжкими узами связывали его мысль и еще не были окончательно расшатаны событиями и агитацией. Один лишь авторитет начальства был сильно поколеблен, но авторитет революционной партии еще не встал на его место.

Условия полицейского режима препятствовали широкому доступу к военной массе не только революционной литературы, но и революционного слова. В казарме распропагандированные матросы и солдаты могли обращаться лишь к совершенно надежным людям, исподволь привлекая их на свою сторону, только после долгой подготовки вводя их в кружки, где руководителем бывал “вольный” член партийной организации. Изредка в казармах, в лагерях, вообще в местах наибольшей циркуляции военных,

разбрасывались прокламации. Благодаря условиям своей службы, матросы чаще соприкасались с портовыми рабочими, среди которых число сознательных социал-демократов было довольно велико. Но до октябрьского подъема и влияние рабочих было чисто случайным.

Только успехи революционного движения превратили эту агитационную каплю в сильную струю, начавшую заливать широкую массу. Общее недовольство стало нарастать и принимать бурный бунтарский характер.

Как известно, армия царской России в своем подавляющем большинстве черпалась из крестьянства, в ту пору в большинстве губерний очень темного, покорного, забитого. В пехотных частях рабочие, ремесленники и вообще более развитой городской элемент представляли ничтожный процент. Лишь в специальных частях — артиллерия, саперы, телеграфные и железнодорожные батальоны и т. п. — этот процент повышался порою очень значительно. Во флоте, где роль специалистов так же очень важна, этого городского элемента тоже было много. Кроме того, самый характер морской службы развивал даже среди крестьян, все-таки значительно преобладавших над горожанами, известную независимость и сознание ценности личности препятствующие забивающему действию дисциплины, вообще говоря, весьма суровой. Как особенность армии и флота в 1905 году, следует отметить большое количество запасных и кончивших срок службы, но еще не уволенных в запас. Эти старики составляли естественные кадры недовольных.

Революционная агитация велась в Севастополе уже давно, хотя и с частыми перерывами. Еще за год до восстания социал-демократическая пропаганда среди матросов пустила настолько глубокие корни, что среди распропагандированных возник вопрос о том, как использовать частичный, чисто военный бунт при отправке матросских команд на Дальний Восток. На "Потемкине" в июньские дни

была социал-демократическая ячейка человек в пятнадцать и такие же ячейки существовали и на некоторых других судах. В течение всего 1905 года севастопольская организация Р. С.-Д. Р. П., несмотря на постоянный и присущий всем, особенно провинциальным, организациям, недостаток профессионалов, обращала особое внимание на казарму. Связи имелись в очень многих частях, даже пехотных.

В интересном письме к обществу подсудимых саперов, объясняющем причины их присоединения к матросскому восстанию, так рассказывается о возникновении среди них революционного настроения:

“Волна освободительного движения пробила брешь в нашей узко-косной среде... Солдатская масса начала с жарким вниманием прислушиваться к стону России, начала интересоваться всеми происходящими явлениями и на все лады обсуждать их... Некоторые из наших, более сознательные, задумывались, как бы сплотить эту разрозненную массу, приготовить из нее вполне сознательную единицу, которая в случае необходимости могла бы принести неоценимую услугу делу освобождения. С этой целью было заведено знакомство с представителем Р.С.-Д.Р.П... С этого времени собственно и начинается сознательная агитация среди всей части, которая пошла довольно успешно, благодаря ранее почти бессознательно подготовленной почве”.

25 сентября, как рассказывают далее авторы письма, был арестован пропагандист, когда он шел на собрание. Тогда же были арестованы два наиболее деятельных сапера. Начались частые внезапные обыски, и в результате — затишье до октябрьских событий. Приблизительно так же как у саперов, происходило все и в других связанных с организацией частях. Замерший интерес пробудился под влиянием общего возбуждения в октябре. Но матросам и солдатам было запрещено посещать митинги. В казармах стали строго

следить, чтобы “нижние чины” не уходили со двора, мотивируя это тем, что время тревожное, могут вспыхнуть беспорядки и т. д. Потом стали объяснять гораздо проще: “возвещенная свобода военных не касается, и потому строго приказано солдат не пускать в город. Все-таки отдельным людям, несмотря на строгие наказания, удавалось вырваться, попадать на митинги, беседовать с “вольными” и доставать литературу. Видевшие и слышавшие рассказывали другим. И настроение постепенно нарастало.

2. Подготовка и начало.

В первых числах ноября была восстановлена военная социал-демократическая организация. На происходивших с этой целью собраниях прежде всего был поставлен вопрос о настроении военных, преимущественно матросов, и о возможности поддержки ими общего движения. Выяснилось, что определенно-революционное настроение существует лишь в “экипажах” (флотских казармах), на судах же, за исключением “Потемкина” и “Очакова”, хотя брожение и есть, но настроение не так определено. На вопрос о желательности активного выступления в ближайшем будущем большинство участников этих собраний ответило отрицательно, считая, что такое выступление несвоевременно как вследствие недостаточной подготовки массы военных, так и потому, что общее движение в стране переживало период затишья. Полагали, что после сравнительно непродолжительной энергичной работы шансы на полный успех восстания значительно поднимутся. Был выработан план подготовки к восстанию, согласно которому военная организация, не ограничиваясь политической агитацией, будет организовывать массы на почве ближайших экономических нужд. Главной задачей этой организационной работы было создание полулегального представительства

матросов и солдат для заботы об их насущных интересах. Этот путь считался самым близким для объединения и спайки всех ячеек. В качестве ближайшей меры борьбы намечалась забастовка. Идея забастовки пользовалась тогда огромной популярностью, и один опыт такой забастовки был уже в конце октября с успехом проведен среди запасных.

Работа закипела. Уже 6-го ноября недалеко от флотских казарм состоялось два митинга с числом участников от 400 до 600 на каждом. В следующие дни на матросских митингах перебивало все население экипажей и много солдат Брестского полка, расположенного бок о бок с матросами.

Дисциплина казармы была этим массовым порывом к свободному слову совершенно разрушена. На судах, куда вольные не могли проникать, собрания устраивались самими матросами, из которых особенную энергию проявил машинный квартирмейстер "Потемкина" Сиротенко, посещавший суда и выступавший даже в присутствии самого Чухнина.

К 9-му ноября настроение уже настолько повысилось, что, когда один из с.-д. ораторов предложил постоять за ожидавших суда участников потемкинского восстания, тысячная толпа хотела немедленно приступить к освобождению их.

10-го ноября уезжавшие запасные прощались с оставшимися на службе товарищами. Созванный ими митинг носил очень бурный характер. Раздавались призывы к восстанию. Члены организации вынуждены были умерять настроение, указывая на слабую организованность и на необходимость согласовать выступление в Севастополе с общероссийским движением. На митинге было постановлено выбирать депутатов, вырабатывались требования.

11-го вечером буря прорвалась. Обычный матросский митинг не состоялся, так как начальство решило положить конец собраниям, и с этой целью все ворота экипажей были заперты и охранялись усиленными караулами. В засаде

были приготовлены боевые роты.

Многим матросам, однако, удалось проскользнуть, и они присоединились к митингу портовых рабочих, происходившему недалеко от дивизии. Боевая рота от Белостокского полка, наименее затронутого пропагандой, была приготовлена для разгона этого митинга. Недалеко от этой роты стоял матросский патруль. Этому патрулю было слышно, как контр-адмирал Писаревский приказывал командовавшему пехотной ротой штабс-капитану прибегнуть к провокации, чтобы иметь повод применить оружие для разгрома собравшейся толпы.

Один из матросов патруля, Петров, возмущенный услышанным, на глазах у всех зарядил винтовку и тремя выстрелами тяжело ранил контр-адмирала и убил штабс-капитана. “Лучше погибнуть одному человеку, чем многим!” — воскликнул он. А затем сам предложил арестовать себя. Эти выстрелы развязали настроение и придали событиям неожиданный оборот.

Боевые роты из матросов были обезоружены, офицеры были изгнаны, Петров был освобожден. Восставшие немедленно из своей среды назначили караулы. На состоявшемся тут же, во дворе экипажа, митинге было постановлено немедленно выбрать депутатов. Выборы, сопровождавшиеся отдельными собраниями, происходили всю ночь. Так началось восстание на берегу. На судах эскадры, кроме “Очакова” и “Потемкина”, настроение, между тем, сильно отставало от настроения береговых команд.

“Очаков” был новый, заканчивавшийся постройкой, броненосный крейсер. В августе только на него была назначена команда в 385 человек матросов, в большинстве новобранцев, успевших до военной службы в той или иной степени воспринять бациллу революции, и еще не забитых казармой.

На крейсере продолжались работы, и среди рабочих находилось несколько человек социал-демократов, при-

ехавших из Сормовского завода для установки машин. Время своего пребывания на корабле они с успехом употребили на агитацию.

Молодая разагитированная команда повышенно реагировала на возмутительно грубое отношение к себе со стороны командира крейсера, на притеснения боцманов и других “шкур”, как назывались во флоте сверхсрочнослужащие, на плохую пищу и пр.

Уже 8-го ноября на крейсере проявились первые признаки брожения. Кочегарная и машинная команда, собравшаяся на летучий митинг, отказалась повиноваться командиру, предложившему матросам разойтись по своим помещениям. Когда командир с обычной для него резкостью стал грозить наказанием, из толпы раздались возгласы возмущения, слышались даже крики: “долой командира!”

9-го ноября при поднятии флага команда не ответила командиру на его приветствие, а потом, собравшись на нижних шканцах, опять стала кричать: “долой!” Прибывшему на крейсер военно-морскому прокурору жаловались на грубость командира, на скверную пищу и требовали, чтобы офицеры ежедневно объясняли события и вообще беседовали с командой на политические темы. Весь этот день среди матросов наблюдалось брожение. Особенно выделился машинист Гладков, говоривший с прокурором и руководивший командой.

10-го ноября командир с командой уже не здоровался. Волнение продолжалось.

11-го “Очаков” вышел в море для пробы башенных орудий. Хотели воспользоваться этим и убить командира, но почему-то не вышло. Удержали, вероятно, благоразумные элементы. Вечером узнали о событиях в экипажах.

3. Первые дни (12-е и 13-е ноября).

Утром 12-го ноября был многотысячный митинг. Затем состоялось первое собрание флотских депутатов.

На этом собрании, происходившем с участием “вольных” и под председательством члена социал-демократической организации, вполне выяснилась картина настроения матросов. Боевое настроение, вспыхнувшее в первый момент, погасло, и самые решительные из депутатов признавали, что переходить к боевым действиям, от стачки к восстанию, не заручившись поддержкой большинства судов флота и гарнизона, преждевременно. Ясно было, что без подготовительной работы восстание обречено на неминуемую и немедленную неудачу. Решено было провозгласить военную забастовку и только в случае нападения защищаться. Но среди матросов существовало совершенно твердое убеждение, что начальство не решится прибегнуть к крутым мерам. Понимание того, что военная сила с момента изгнания начальства и вообще нарушения дисциплины тем самым становится на путь вооруженной борьбы, при этом настроении могло проникнуть в головы большинства лишь постепенно и под давлением событий. Все предложения активных действий наталкивались на решительный отпор, причем постоянно слышались голоса: “Мы не хотим революции! Мы мирным путем! Мы не согласны проливать кровь!” И первые шаги восставших носили именно такой характер.

Присоединение Брестского полка задержалось вследствие колебания сознательных солдат полка самостоятельно поднять массу. Колебание это проистекало из того, что далеко не во всех ротах были достаточные ячейки решительно настроенных. Большинство стояло за дружеский нейтралитет. Поэтому матросам всей массой пришлось отправиться к брестцам, чтобы побудить их пристать к движению.

После митинга во дворе брестского полка, брестцы присоединились, разоружили и прогнали офицеров. Затем

вся масса матросов, брестцев и забастовавших с утра из солидарности рабочих порта направились к Белостокскому полку, чтобы привлечь и его.

Огромная манифестация с красными знаменами и оркестром вошла в город. Белостокский полк стоял в боевой готовности, не доходя до своих казарм. Однако, демонстранты, уверенные в том, что стрелять по ним не будут, вплотную подошли к нему. Стрельбы действительно не последовало, но вместо этого оркестр белостокцев заиграл "Боже, царя храни". Оркестр демонстрантов тоже ответил гимном. И после этого оригинального обмена приветствиями, белостокцы в порядке стали отступать. Матросы не решились прорвать их стройные и суровые ряды, ни одним, сочувственным криком не ответившие на призывы манифестантов.

Полк был уведен за город, оставив в полное распоряжение матросов почти безлюдные казармы.

Это была первая неудача. За ней последовали другие.

На сигналы, поданные эскадре: "прислать депутатов в дивизию" (т. е. в флотские казармы), не последовало в этот момент никакого ответа. Суда не решались.

Уверенные в полном сочувствии команды "Потемкина" депутаты с Сиротенко во главе отправились на корабль и там подняли красный флаг. Но огромное большинство команды, увидав, что офицеры съезжают, испугалось, и флаг был спущен. Это сильно понизило настроение.

Тогда же разыгрался небольшой, но весьма показательный инцидент. Во время манифестации, при выходе толпы из брестских казарм, подъехал комендант крепости генерал-лейтенант Неплюев с командующим дивизией генерал-майором Седельниковым. Депутаты потребовали от коменданта, чтобы он приказал убрать пулеметы, выставленные на Историческом бульваре, как угроза манифестантам, и, когда Неплюев отказался исполнить это требование, оба генерала были арестованы. Депутаты решили

держат их, как заложников. Но когда манифестация после своей неудачи вернулась в экипажи, их встретила депутация от солдат крепостной артиллерии и категорически, угрожая в противном случае неприсоединением к ним и даже стрельбой, потребовала освобождения генералов. Большинство матросов, несмотря на возражение социал-демократов, подозревавших в этом провокацию, постановило генералов отпустить. Это лишний раз показало, как преждевременны были надежды на полное присоединение всего гарнизона.

Самый тяжелый удар был нанесен ночью. Брестский полк изменил. За единичными исключениями брестцы покинули свои казармы и присоединились к Белостокскому полку.

Матросы были предоставлены самим себе. Но и среди них не все было благополучно. Хотя на многих судах как выяснилось, сочувствие было целиком на их стороне, но к активному присоединению были склонны только "очаковцы", которые на повторный призыв прислать депутатов, принудили начальство согласиться на это. Полученные "очаковцами" требования, выработанные в дивизии, подверглись на крейсере обсуждению и были радостно приняты.

Не раз утверждалось, что эти требования носили узко экономический характер, а требования политические были будто бы включены лишь по настоянию Шмидта. Это неверно. Многие из пунктов были остро-политическими и революционными. Так, в них содержалось требование освободить всех политических-военных, снять военное положение и отменить смертную казнь, требовалась свобода вне часов службы и т. д. "Сверх того, — говорилось там, — матросы и солдаты присоединяются к всеобщим российским требованиям: 1) немедленного созыва учредительного собрания на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования и 2) восьмичасового рабочего дня".

Эти пункты, в том числе и политические, были выра-

ботаны в течение 12-го ноября, до появления Шмидта среди восставших, затем были напечатаны и распространялись в большом количестве.

13-го ноября на "Очакове" после подъема флага был прочитан приказ Чухнина, предлагавший всем, кто стоит за царя, остаться на корабле, а тем, кто против царя и стоит на стороне мятежников из дивизии, оставить "Очаков".

Когда старший офицер объявил этот приказ и спросил: "Кто за царя?" — команда в один голос ответила: "Все". Когда же предложили выйти вперед тем, которые признают дивизию мятежной, никто из рядов не вышел. Попытка разъединить команду не удалась.

Еще одна такая попытка была сделана в тот же день уже после того, как офицеры съехали с крейсера. Прибывший в качестве парламентаря флаг-капитан эскадры также обратился к команде с предложением: "Кто за царя — направо". Направо пошли все. "Кто не желает служить?" Оказалось, что желают служить опять-таки все.

Поздно вечером офицеры вернулись на "Очаков" и потребовали выдачи винтовок и ударников от орудий. На этом условии, мол, офицеры останутся на судне, а команда докажет этим свою верность долгу. В первый момент провокация подействовала. Раздались голоса: "Пусть берут. Зачем нам оружие?" Но комендор Никита Антоненко, один из самых активных очаковцев, расстрелянный впоследствии на Березани, крикнул: "Оружия не отдавать! Это ловушка!" И команда уперлась.

Офицеры снова съехали. На другой день уехали оставшиеся кондуктора, кроме Частника, принадлежавшего к социал-демократической организации, и таким образом крейсер окончательно перешел на сторону восставших.

День 13-го ноября на суше прошел относительно спокойно. Начальство, желая оттянуть время и опасаясь немедленного перехода на сторону дивизии всех судов и частей войск, разрешило командам выбрать депутатов и

прислать их в дивизию. Депутаты прибывали, знакомились и уезжали снова. Депутаты дивизии, в свою очередь, работали не покладая рук. Они ездили на суда ходили к артиллеристам, саперам, запасным, в лагери, всюду агитируя за присоединение и выясняя настроение. Остро чувствовался недостаток агитационных сил, так как, хотя из Симферополя прибыли партийные подкрепления, они были совершенно не в курсе дела, и их помощь была незначительной.

Радостным событием был приход саперной роты с винтовками и полным комплектом патронов. Они оставили свои казармы и переселились в экипажи. Во главе их стоял старший унтер-офицер Максим Барышев.

4. Отношение Шмидта к событиям. Митинг 13-го ноября.

До сих пор Шмидт никакого касательства к восстанию не имел. Он совершенно был поглощен своими широкими планами и восстанию определенно не сочувствовал. Немедленно по возникновении мятежа он хотел прекратить его и с этой целью, как рассказывает он сам, отправился к градоначальнику и предложил ему свои услуги.

Понятно, это не было прислуживанием к власти. Просто Шмидт считал, что восстание несвоевременно, и в этом отношении он был прав, и думал, что для осуществления его собственных планов необходимо приостановить начавшееся движение во что бы то ни стало. Для этого, не обратившись предварительно к совету депутатов, образовавшемуся в дивизии, он предложил властям “успокоить” людей на том условии, что “не будут искать зачинщиков и что пострадает один Петров”, матрос, убивший штабс-капитана и ранивший адмирала.

Здесь характерны два обстоятельства: во-первых, вера в слово власти, а во-вторых, та военная хитрость, которая

скрывалась в словах о Петрове: Шмидту было прекрасно известно, что Петрова в городе уже нет.

Но из переговоров ничего не вышло: власти не доверяли Шмидту и боялись, что таким официальным вмешательством он еще выше поднимет свой престиж. И Шмидт махнул рукой на мятежников и стал готовиться к отъезду в Одессу к коммерческим матросам, оттуда он собирался в Киев, где ждала его З. Р., а затем уже по фабричным районам.

13-го ноября на Приморском бульваре состоялся многолюдный гражданский митинг, на который явился и Шмидт, чтобы сказать свое прощальное слово. Запрещение, наложенное на него Чухниным, как на лейтенанта действительной службы, уже потеряло свою силу, потому что как раз накануне этого дня проклятье военного мундира было снято — ему было объявлено об отставке⁶⁾. Бояться немедленного ареста “за неисполнение приказа” уже не приходилось.

Содержание произнесенной на этом митинге речи Шмидт сам передал таким образом: “Я... нарисовал историю всего русского освободительного движения, *бесплодность демонстраций и мятежей* и необходимость требовать учредительное собрание, для чего предложил рабочим связать свои действия с московским стачечным комитетом. Успех моей речи показал мне, что простой народ легче понимает действительное положение вещей”.

В другом месте, рассказывая о своей речи, действительно восторженно принятой слушателями, он говорит:

“Я умолял, заклинал, громил их (рабочих) за малодушие и доказывал им необходимость бросить все экономические требования и перейти к исключительно политическим забастовкам с требованием учредительного собрания”.

Он закончил эту речь словами:

“Да здравствует же молодая, свободная, счастливая социалистическая Россия! Да здравствует учредительное собрание! Оно одно выльет в свободное русло

⁶⁾ Шмидт уволен со службы с чином капитана II ранга “за противозаконные, как военнослужащего, деяния” “высочайшим приказом” от 7 ноября.

законодательства те наболевшие нужды, которые имеют святое право на удовлетворение; оно одно, как нежная мать подойдет к истекающему кровью, измученному народу и залечит его вековые раны. Оно одно откроет пути счастья изнемогающему пролетариату всего культурного мира. Да здравствует же тяжелая борьба трудового люда за право на жизнь, свободу и счастье, да здравствует великая русская социалистическая революция!"

Учредительное собрание здесь впервые выдвигается Шмидтом, как центральный лозунг его агитации. До сих пор во всех своих выступлениях и письмах он говорит о всеобщем избирательном праве, не указывая на путь, которым оно может быть достигнуто, т. е. не производя выбора между дарованием его верховной властью и достижением его посредством волеизъявления народа, в руки которого при учредительном собрании переходит верховная власть. Таким образом, перед нами новое полевание Шмидта.

На учредительном собрании с этого момента сосредоточивается вся политическая мысль Шмидта. Кроме него он ничего не хочет видеть, ничего не хочет знать. Его сознание не усваивает того элементарного факта, что массы организуются для политической борьбы не на почве отвлеченных понятий, каким в его концепции является учредительное собрание. Он не хочет знать, что для того, чтобы политический лозунг учредительного собрания приобрел свою движущую силу, он должен воспринять в умах массы характер понятия, охватывающего всю сумму частных лозунгов борьбы, в том числе и экономические, и правовые, и ограниченно-политические требования.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

От забастовки к восстанию.

1. Шмидт примыкает к восстанию.

Октябрьские выступления Шмидта приобрели ему популярность среди матросов. Некоторые матросы раньше навещали его для бесед на общественные темы. Поэтому, когда в дивизии вспыхнул мятеж, эти знакомые матросы заинтересовались мнением Шмидта о происходящем. 13-го к нему явились за советом делегаты судовых команд, выбранные с разрешения начальства. Шмидт изложил им свою точку зрения и, как ему казалось, убедил их. Он, между прочим, сказал, что если бы матросы требовали учредительного собрания, он присоединился бы к их петиции, к их же экономической петиции он отнесся с презрением.

Здесь надо сказать, что судовые депутаты выработали до посещения дивизии свои требования, при чем выработывали они их на броненосце “Ростислав” под руководством начальства. Эти требования в дивизии были решительно отвергнуты, а депутатам судов было предложено распространить печатные требования, содержащие и учредительное собрание. Шмидт этого еще не знал, ему были показаны те требования, с помощью которых начальство хотело спровоцировать раскол среди мятежников.

К вечеру 13-го судовые депутаты опять посетили Шмидта и стали уговаривать отправиться с ними в дивизию. Шмидт долго отказывался. Он был измучен после митинга и чувствовал, что его “нервы упали, и он не мог быть убедительным в речах”.

Возможно, что он чувствовал, как трудно будет ему, соприкоснувшись с атмосферой мятежа, не поддаться ей и вследствие этого не связать свою судьбу с восставшими. А судьбу их угадать тогда было уже не трудно. Эти колебания

были совершенно естественны и понятны: здесь было дело, которое он считал чуждым себе, здесь была возможная, почти верная неудача и гибель, тогда как впереди ему рисовалась блестящая, полная успехов карьера народного трибуна и личное счастье, которое он так долго и страстно жаждал. Но он поборол эти колебания и предчувствия и уступил настойчивым просьбам.

В дивизии Шмидт застал совещание делегатов, обсуждавшее программу дальнейших действий. Еще до его прихода было решено приступить к активным действиям, так как за эти дни все меры агитации, казалось, были исчерпаны, и отовсюду — от судов, артиллерии и пехоты поступали заявления о сочувствии и поддержке.

Прибытию Шмидта все обрадовались, надеясь, что он, как офицер, сумеет более целесообразно использовать военные ресурсы восставших.

Шмидт, взяв слово, обратился к присутствующим с большой речью, обвиняя социал-демократов и предлагая прекратить забастовку. При этом он развил свою программу, уже известную нам из предыдущего, и поделился своим планом. По этому плану севастопольские матросы, поднявшие восстание, должны были, сговорившись через его посредство с властями на незначительных уступках, прекратить начатое дело и ждать, пока он, Шмидт, побывав революционных центрах и условившись там о моменте общероссийского восстания, даст сигнал Черноморскому флоту. Это всеобщее восстание очень близко; в Москве, в союзе союзов все готовят к нему. И для этого нужно чтобы пока все было спокойно. А тогда, когда все будет подготовлено, нажмут из центра кнопку — и, трах! все готово! Победа обеспечена!

Этот план встретил резкий отпор. Представитель с.-д. организации, говоривший после Шмидта, доказывая всю утопичность восстания по сигналу, говорил об обязанности всех революционных партий пользоваться всяким местным и

частичным движением, чтобы придать ему организованный и политический характер, и в заключение поставил Шмидту вопрос, считает ли он возможным ради своих гадательных и широких проектов бросить на произвол судьбы матросское движение и таким образом уничтожить то огромное влияние, которое в общем ходе происходящей в России революции это частичное событие, даже при неудаче его, могло бы иметь.

Затем выступил ряд матросов, убеждавших Шмидта, что борьбу за учредительное собрание они также считают своей главной задачей. Было рассказано, как стихийно и совершенно независимо от сознательной воли отдельных участников, движение возникло. Рисовалось настроение на судах, как оно представлялось депутатам.

Говорили артиллеристы, пехотинцы, саперы. Сообщали, какие меры намечены и приняты, чтобы далее развить движение и придать ему всеобщий характер.

Речи эти были полны энтузиазма и веры в успех. Каждый предыдущий оратор разгорячал последующего и красный вымысел невольно прикрывал серую правду.

Это не был штаб революции, трезво и холодно, вдали от кипящей борьбы, обсуждающий все *за* и *против* и из многих комбинаций выбирающий наиболее целесообразное. Все участники этого собрания пришли в него из самой кипящей массы, среди которой они целый день находились, уговаривая, убеждая колеблющихся, сплачивая разбегающихся. Многие не спали двое и трое суток и не имели минуты свободной для раздумья и оглядки. И их энтузиазм передался Шмидту, а их вера поколебала его неверие.

“Никто из присутствовавших не хотел сдаваться, — пишет Шмидт в своих воспоминаниях; — депутаты же говорили, что вся эскадра согласна с требованием учредительного собрания. Поднимался также вопрос о том, что крепостная артиллерия не будет бомбардировать эскадру, и депутаты крепостной артиллерии были тут же. Я высказал, что если бы это было действительно так, т. е. вся эскадра

пожелала бы требовать учредительного собрания, то я считаю это дело святым долгом, а потому в таком требовании готов участвовать, но с единственным непременным условием, чтобы не было пролито ни одной капли крови, чтобы вся эта артиллерийская готовность была символом боевой силы, присоединившейся к требованию всей России. Я считал, что убежденное слово военной силы, не желающей больше крови народной, а требующей учредительного собрания, несомненно спасет родину”.

Таким образом Шмидт уступил движению. Что касается его требования о непролитии крови, то и у матросской массы совершенно твердо установилось намерение идти мирным путем, т. е. не прибегать к бесцельным убийствам из одной ненависти к отдельным представителям власти, начальства. Но, конечно, и Шмидт, и матросы считали само собой разумеющимся, что в случае нападения необходимо защищаться. . Поэтому очаковцы не позволили обезоружить себя, поэтому, когда разоруженные суда окончательно перешли на сторону восставших, они всеми мерами старались вооружиться. Вопрос же о переходе в нападение с оружием в руках против верных правительству судов и воинских частей в той стадии постепенного развития, из которой восстание так и не вышло, ставиться совершенно не мог. Выдвигать его — значило бы сознательно идти на раскол и поражение.

13-го ноября и Шмидту, и другим участникам движения казалось, что власти еще не скоро сумеют оправиться и приступить к подавлению движения. В этом убеждала кажущаяся всеобщность сочувствия и готовность почти всего флота перейти на сторону дивизии.

С другой стороны, власть до сих пор проявляла склонность к уступкам, и, как одну из таких уступок, все склонны были рассматривать разрешение выбрать делегатов и послать их в дивизию. Считали, что впереди имеется еще ряд дней, в течение которых удастся окончательно все организовать

Шмидт согласился не уезжать и обещал со своей стороны принять энергичные меры к побуждению остальных судов эскадры присоединиться.

2. Дальнейшие события. Шмидт на "Очакове".

В ту же ночь началась подготовка к захвату судов. Намечались суда, которые можно легко захватить, группировались отряды, которые, возглавляемые депутатами, должны были осуществить это дело. Вечер следующего дня был намечен, как начало наступательных действий, о чем широко стало известно в дивизии.

Эти планы вызвали недовольство среди малосознательной части мятежников. Недовольство, правда, открыто и прямо не выражалось, но депутаты все чаще и чаще стали замечать шушукавшиеся по углам кучки. Среди массы матросов было немало провокаторов, подосланных офицерами и державших начальство в курсе планов дивизии. По подозрению в провокации было арестовано несколько человек, но всякий такой арест вызывал новое недовольство и возмущение.

14-го присоединился запасный батальон. Офицеры этого батальона прислали в дивизию двух делегатов от себя сказать, что они всей душой на стороне восставших и готовы отдать себя в их распоряжение.

Этот день был табельный. Суда, в том числе и "Очаков", расцвелились флагами. Депутаты-матросы, уступая частью желанию массы, частью же совершенно искренно, потому что царская власть еще сохраняла для них свой престиж, устроили обычный парад с молебствием.

В этот же день по городу и среди войск распространялись печатные требования матросов и воззвание к солдатам Брестского полка. В этом воззвании с полной ясностью и недвусмысленностью устанавливается программа и

лозунги движения.

“Товарищи, братья! — говорилось в нем. — Мы, матросы Черноморского флота, обращаемся к вам с горячим словом убеждения, не верьте тому, что говорят вам вечные насильники и кровопийцы — наши офицеры и попы...

Вы поддались их лживым словам, ушли из казармы, забрали кассу, готовились защищаться от нашего нападения. А они, негодяи, спаивали вас водкой и заставляли приносить присягу.

Товарищи, наши офицеры подло лгут вам: никогда в мыслях мы не имели кого-нибудь грабить, никогда не изменяли мы родине, всегда поступали и поступаем по совести и разуму своему. Лгут они все это потому, что боятся, чтобы вы не соединились с нами в наших требованиях.

Братья солдаты, мы не грабители и не изменники какие; только не стало мочи у нас сносить дольше притеснение начальства и проклятые порядки российские... Мы требуем, чтобы солдат был признан человеком, чтобы улучшили нам пищу и увеличили нам жалованье, чтобы уменьшили срок службы, чтобы обращались с нами по-людски, а не по-скотски, чтобы солдатам даны были те права, которые возвещены всему народу манифестом 17-го октября, права — свободно собираться, свободно обсуждать свои и общие народные нужды, свободно читать газеты и книги. Мы требуем, наконец, со всем великим русским народом, чтобы немедленно было созвано всенародное учредительное собрание”.

Власти, конечно, не могли предоставить событиям развиваться с естественной последовательностью. Полномочия по усмирению были переданы ген.-лейт. Меллер-Закомельскому, который с этой целью прибыл вместе с войсками из Симферополя. Были вызваны кроме того еще подкрепления. 15-го ноября Меллер-Закомельский мог уже двинуть против мятежников, не считая верных правительству судов и крепостной артиллерии 4 тысячи

штыков, двести сабель, 28 орудий и четыре пулемета⁷⁾).

Так же, как и собиравшиеся в дивизии депутаты, власти тоже очень преувеличивали силы и боевой дух восставших, и власти, может быть, больше, чем сами восставшие. Например, в дивизии было прекрасно известно, что команды броненосцев "Синоп" и "Три Святителя" в своем подавляющем большинстве нисколько не сочувствовали мятежу, а между тем, по приказу Меллер-Закомельского, с этих кораблей были увезены ударники от орудий и они были, таким образом, обезоружены. Обезоружены были все суда, а также и крепостная артиллерия.

Это разоружение началось с 14-го, причем Чухнин сам объезжал эскадру, обращаясь на каждом корабле к команде с призывом остаться верными присяге. И в такой степени колеблющимся было настроение матросов, что этого объезда и призыва, с помощью, конечно, непрерывной агитации офицеров и "шкур", было достаточно, чтобы создать перелом в сторону неприсоединения.

Команды ряда судов выразили раскаяние и стали умолять начальство вернуть оружие. Даже "Ростислав", депутаты которого уверяли, что вся команда броненосца на стороне дивизии, изменил. "После некоторого колебания", как он сам говорит, Меллер-Закомельский 15-го ноября вернул этим раскаявшимся ударники и не пожалел. Орудия "Ростислава", "Трех Святителей" и др. в тот же день громили революционные суда.

Приготовления властей не укрылись от мятежников. О разоружении судов и об объезде Чухниным эскадры было сообщено также Шмидту, и это известие, повидимому, окончательно определило его решение разделить участь восставших.

Сын Шмидта так описывает этот момент:

"Часа в четыре⁸⁾ пополудни к папе прибегает депутат с "Очакова", страшно бледный, с растерянной улыбкой, он

⁷⁾ См. доклад ген.-лейт. барона Меллер-Закомельского. "Былое". 1917 г., кн. 5 — 6.

⁸⁾ По обвинительному акту, Шмидт прибыл на "Очаков" около 3-х час. дня, сам же он определяет этот момент, как два часа дня.

принес записку с “Очакова”; оказалось, что Чухнин объезжает эскадру и разоружает суда и что полевая артиллерия окружила казармы.

Папа вышел из кабинета с лицом безумным. Глаза были стеклянные, и у него вырывался негодующий смех. Он говорил, что все рушится и что нужно во что бы то ни стало спасти казармы и “Очаков”... Страшно бледный он крикнул:

— Не дадим им погибнуть, увидим еще! “Он сейчас же надел пальто, взял с собой чемодан, который был у него уложен и готов для отъезда в те города, где он хотел на митингах призывать к всеобщем забастовке. Матрос взял чемодан, и они ушли...”

Потом я узнал, что он хотел вскочить на катер к Чухнину и заставить его силой, если не помогут убеждения, прекратить его кровавую тактику. Но Чухнин в это время уже кончил и уехал с рейда, а папа прямо поехал на “Очаков”...

Это намерение — застигнуть Чухнина во время объезда эскадры подтверждает и сам Шмидт в своих воспоминаниях.

На “Очакове” Шмидта ждали с утра, так как о его переезде на крейсер было условлено еще накануне на совещании в дивизии. Команда встретила его, выстроившись во фронт, а караул отдал ему адмиральские почести.

Тут же он обратился к очаковцам с речью, которую он излагает следующим образом:

“Я высказал им, какое значение имеет учредительное собрание, что это одно может остановить начавшую проливаться кровь крестьян, а потому русским матросам суждено сказать веское слово правды, и для того, чтобы оно было сказано, я готов умереть, что это не мятеж против государя. Я признаю возможность неповиновения министрам, работа которых вредит и государю и народу, а потому признаю единственное требование учредительного собрания, о чем знают все депутаты, а следовательно, и все другие суда эскадры”.

Шмидт занял командирское помещение и известил ди-

визию о том, что он вступил в командование “Очаковым”.

Вечером на “Очаков” прибыли руководители движения на берегу, и здесь состоялось совещание, наметившее целый ряд наступательных действий. Дивизия должна была овладеть рядом мелких судов, захватить арсенал в порту, где кроме пулеметов и винтовок рассчитывали найти также ударники для орудий “Потемкина” и других судов. Шмидт, с своей стороны, взялся в течение этой ночи завладеть “Ростиславом” — флагманским судном. Овладев им, он рассчитывал вызвать на него от имени адмирала Феодосьева всех офицеров с эскадры, арестовать их, а затем уже лишенные офицеров суда легко могли быть захвачены дивизией. Предвидя, впрочем, что этот план может не удалиться, он намеревался в таком случае созвать на “Очакове” собрание офицеров, якобы для выработки общего с ними плана прекращения мятежа, поставить им ультиматум — присоединиться к матросам, и в случае отказа арестовать их. Был намечен ряд других мер, в том числе освобождение заключенных на “Пруте” потемкинцев, подъем утром красного флага на захваченных судах и провозглашение Шмидта командующим флотом.

Все эти планы были осуществлены лишь частично.

Захват судов, подготовленный еще накануне, был начат с 7-и часов вечера. Был захвачен минный крейсер “Гридень”, контр-миноносец “Свирепый” и три номерных миноносца. “Свирепый” и миноносцы были выведены на рейд и отведены к “Очакову”.

Офицеры, находившиеся на захваченных судах, были арестованы. В тех случаях, когда команды не выражали полного сочувствия, они свозились на берег и заменялись добровольцами из дивизии.

Но в эту ночь всех намеченных судов захватить не удалось, так как команды некоторых из них (“Завидный”, “Звонкий”, “Екатерина II” и др.) оказали сопротивление.

Другие захваченные и присоединившиеся военные суда

(учебное судно “Днестр”, канонерская лодка “Уралец”, контр-миноносцы “Зоркий” “Заветный”, минный транспорт “Буг”), а также принадлежавшие к плавучим средствам порта пароходы и катера, подняли красные флаги уже днем 15-го, когда использовать их было поздно.

Шмидт своих планов в течение ночи не осуществил. Вызванные им на “Очаков” офицеры не явились.

3. День 15-го ноября.

15-го ноября на “Очаков” рано утром были перевезены арестованные в течение ночи офицеры и чиновники, которые должны были служить заложниками.

Около 8-ми часов утра был задержан пассажирский пароход “Пушкин”, на котором предполагалось присутствие вызванных из Одессы войск. Кроме того, Шмидт хотел, поставив пароход возле “Очакова”, воспользоваться им как прикрытием в случае боя.

В 9 часов на “Очакове” под звуки оркестра был поднят красный флаг и сигнал: “Командую флотом. Шмидт”. Одновременно красные флаги были подняты на мачте дивизии и на присоединившихся судах. Но ожидавшегося присоединения всей эскадры не последовало.

Тысячные толпы народа наблюдали эту картину. И картина действительно была чудная. “На рейде, — рассказывает один из очевидцев, — в стройном порядке стояла эскадра, имея на фланге, ближайшем к выходу в море, великана-красавца “Очакова”, а на этом “Очакове” развевался красный флаг. Потому ли, что он стоял мористее, менее прикрытый берегом, но, в то время как андреевские флаги судов эскадры, едва колеблемые ветерком, были едва заметны, высоко поднятый красный флаг “Очакова” развернулся почти во всю свою длину, как бы торжествуя над приниженным противником”.

Видя, что андреевский флаг на судах эскадры остается, Шмидт перешел на контр-миноносец "Свирепый" и стал с оркестром, игравшим "Боже, царя храни", обходить эскадру. Миноносец шел медленно. Шмидт один стоял на командирском мостике, без фуражки с развевающимися волосами, и к каждому кораблю обращался с призывом.

Он, говорил: "С нами бог, царь и весь русский народ".

На крики "ура", раздавшиеся с миноносца после каждого призыва Шмидта, большинство судов угрюмо молчало. С некоторых офицеры осыпали Шмидта оскорблениями, кричали: "Изменник! Жидам продался!" и т. п. Дружным "ура" ответила команда "Потемкина", но красного флага не подняла.

"Свирепый" проходил под самым бортом гигантских кораблей, и все свидетели этой сцены ожидали, что вот-вот раздастся ружейный или револьверный выстрел, направленный рукою офицера, и поразит мужественного лейтенанта. Но враги были парализованы этим мужеством, этой, как потом говорили они, "небывалой по дерзости прогулкой невзрачного лейтенанта, призывающего к мятежу матросов в присутствии командиров и офицеров чуть ли не всего Черноморского флота".

По объезде судов Шмидт с вооруженной командой перешел на катер и на нем подошел к транспорту "Прут", служившему тюрьмой для потемкинцев. Он поднялся безоружный по трапу и объявил встретившим его офицерам "Прута" и военного караула, охранявшего заключенных, что они арестованы, а их узники свободны. Он предлагал им убить его, гарантируя безнаказанность, когда они пытались протестовать. "Но если вы меня не убьете, я освобожу потемкинцев!" — воскликнул он, трагическим жестом открывая грудь. И офицеры отошли в сторону, а команда транспорта с торжествующими криками подняла красный флаг и бросилась открывать каюты арестованных.

Вместе с освобожденными потемкинцами Шмидт вер-

нулся на “Очаков”, отпустил пароход “Пушкин” и его пассажиров и занялся текущими делами. В это время красный флаг был поднят на семи или восьми судах. Тогда же Шмидт отправил царю свою знаменитую телеграмму :

“Славный Черноморский флот, храня заветы и преданность царю, требует от вас, государь, немедленного созыва учредительного собрания и не повинуется более вашим министрам.

Командующий флотом гражданин Шмидт”⁹⁾.

Телеграмму эту Шмидт редактировал самостоятельно, и текст ее в то время никому из руководителей движения известен не был. Но мы не удивляемся монархическому тону этого революционного по существу требования: выше уже отмечалось, что Шмидт считал совместимым, в виду монархизма подавляющего большинства русского народа, самый широкий демократизм с сохранением царского престола. И в дни восстания, и даже накануне смерти своей, — по велению царя, он остается революционером-монархистом.

Из других мер, принятых Шмидтом, отметим, что им неоднократно делалось предупреждение властям, что он рассматривает арестованных на борту “Очакова” офицеров, как заложников, и в случае агрессивных действий против восставших, так же поступит с офицерами, начиная по старшинству. В таком именно духе несколько позже описанных событий сказал он им речь. Содержание этой речи приведено в обвинительных актах по делу о восстании. Устраняя из нее все, что внесено ненавистью и желанием унижить Шмидта, она представляется в следующем виде:

“Ни одна из обещанных свобод не осуществлена до сих пор. Государственная Дума — это пощечина русскому народу. Опираясь на войска, флот и крепость, я требую от царя

⁹⁾ Текст этой телеграммы обычно передается иначе: “Черноморский флот, свято храня верность своему народу, требует” и т. д. Этот второй текст заимствуется, очевидно, из письма Шмидта к властям, опубликованного в газетах. Текст, приведенный нами (см. предисл. к книге “Лейтенант Шмидт. Письма. Воспоминания”. Изд. Новая Москва. 1922 г. VII; “Красный Архив” № 1, с. 344), более соответствует личным воспоминаниям автора. И. Генкин, участник событий, также вспоминает об этой телеграмме, как верноподданнической (см. “По тюрьмам и этапам”).

немедленного созыва учредительного собрания. В случае отказа, я отрежу Крым, пошлю своих саперов построить батареи на Перекопском перешейке и отсюда, опираясь на Россию, которая меня поддержит всеобщей забастовкой, буду требовать, — просить я уже устал, — выполнения моих условий. Экономические требования матросов для меня ничто. Единственная цель для меня — требования политические, остальное я потому добуду. За каждый удар казацкой нагайки я буду вешать одного из вас, моих заложников.. Поэтому, если вы дорожите своей жизнью, пишите родным и знакомым, чтобы они хлопотали о выполнении моих условий — удалении войск и снятии осадного положения”.

Настроение Шмидта после неудачи, постигшей его во время объезда эскадры, упало чрезвычайно. С ним случился продолжительный истерический припадок, совершенно обессиливший его. А между тем все получавшиеся известия говорили, что враг готовится к решительным действиям.

Под давлением приехавших из дивизии депутатов, Шмидт, наконец, поборол овладевшую им слабость и согласился сделать еще одну попытку овладеть эскадрой. Первым был намечен броненосец “Потемкин”, команда которого обещала не оказать никакого сопротивления захвату. Надеялись, что после овладения “Потемкиным”, сопротивление, которое могли бы оказать другие суда, будет слабее. “Потемкиным”, действительно, удалось овладеть без единого выстрела. Команда встретила радостно отряд очаковцев во главе со Шмидтом, а офицеры с первого же слова подчинились и были отправлены на “Очаков”. Шмидт произнес речь. На дальнейшее физических сил у него не хватило, и он вернулся на “Очаков”, откуда не съезжал уже до конца.

Все это время дивизия деятельно готовилась к обороне и продолжала захват мелких судов, поднимая на них красные флаги.

Однако, несмотря на все возраставшую энергию восставших, было совершенно ясно, что восстание проиграно. Последний удар ему нанесла измена крепостной артиллерии.

Под влиянием неустанной провокационной агитации офицеров и запугиванья среди артиллеристов возник раскол. В результате лишь небольшая часть их на прямой вопрос начальства: “За кого они: за царя или за жидов, которым проданся Шмидт? — осталась верна дивизии. Остальные выразили раскаяние и принесли в торжественной обстановке присягу, что будут стрелять в своих недавних товарищей. Прислуга на батареях была сменена, а орудия приготовлены к стрельбе.

С этого момента восставшие на судах и в дивизии становятся совершенно беспомощными.

4. Подавление. В руках врагов.

Первый орудийный выстрел был сделан лично командиром канонерки “Терец” по катеру, перевозившему захваченные восставшими ударники к орудиям “Потемкина”. Катер был потоплен и таким образом самый сильный корабль не успел приготовиться к бою.

На “Очакове” был поднят сигнал: “Возмущен действием эскадры”. Немедленно стали готовиться к бою.

Контр-миноносец “Свирепый” под командованием Сиротенко с изготовленными минами вышел на большой рейд, но едва он приблизился к адмиральскому кораблю, как с “Ростислава”, а затем с “Памяти Меркурия” по нем был открыт страшный орудийный огонь, сразу же разрушивший корму и испортивший машину миноносца. Ответив “Ростиславу” несколькими выстрелами, “Свирепый” замолк.

На “Очаков” в то же время был направлен такой яростный огонь и с судов, и с крепостных батарей, что о сопротивлении нечего было и думать. После нескольких

ответных выстрелов объятый пламенем корабль представлял собою инертную массу, наполненную мечущимися в поисках спасения людьми. А канонада все усиливалась. Люди гибли в огне, под осколками непрерывно разрывавшихся снарядов, под дождем пуль из пулеметов и винтовок. Спасавшиеся на шлюпках расстреливались из орудий, спасавшиеся вплавь расстреливались из винтовок — тонули в холодной воде, а подплывавшие к берегу добивались прикладами.

“Морской бой”, как сообщали торжествующие победители, начался в 3 ч. 15 м., а по “Очакову” стрельба была прекращена в 4 ч. 45 м. Но очевидцы утверждали, что от первого выстрела до последнего прошло не менее 2¹/₂ часов.

Мятежники, запершиеся в дивизии, сильного сопротивления тоже оказать не могли: не хватало патронов, а у большинства отсутствовало желание драться. Отстреливались лишь немногие. 16-го ноября в 6 часов утра Брестский полк загладил “геройским” штурмом экипажей свою вину перед царем.

О количестве жертв восстания история скромно умалчивает. По официальной версии, с “Очакова”, по прекращении на нем пожара, было снято 15 обуглившихся трупов, 16-го ноября выплыло 3 трупа, *“а в последующие дни постепенно выплывали еще трупы и предавались земле”*. В военноморской госпиталь было доставлено тяжело раненых 29, легко раненых — 32, обожженных — 19 и ознобленных — 6. Молва же матросская гласила, что погибло несколько десятков, если не сотен, человек.

Так кончилось Севастопольское восстание так перевернулась одна из самых ярких страниц революционного движения в России.

Эти немногие дни приковали к себе всеобщее внимание, и имя Шмидта, выдвинутого событиями на первый план, стало олицетворением героического подвига. С этого дня вокруг него стала твориться легенда. Оно стало одним из

центров сплочения революционных настроений страны.

“Военная буря затихла, революционная — нет”, — телеграфировал Чухнин сразу по подавлении восстания. И этот завзятый реакционер был прав: революция продолжалась и продолжалась с новой силой. В цепи событий революции 1905 года ноябрьские дни в Севастополе служат гранью между пассивным сопротивлением силам старого режима и активной вооруженной борьбы с ними, между забастовкой и восстанием. Недаром в Севастополе восстание выросло из забастовки.

Наряду с другими проявлениями пролетарской борьбы севастопольские события в то же время дали толчок к отходу от революции и к поддержке правительства тех элементов освободительного движения, которые по своему классовому положению не могли идти до конца. Улыбавшееся первым победам лицо буржуазии исказилось в злобной гримасе. “Пора остановиться”, — заявил испуганный севастопольскими событиями Гучков на съезде земских и городских деятелей. А Милюков с удовольствием сообщал тому же съезду, что “возмущение в Севастополе идет к концу, главные бунтовщики арестованы, а начальник штаба освобожден”.

До тех пор, пока это требовалось обстоятельствами, Шмидт оставался на своем посту, успокаивая растерявшихся матросов и командуя орудийным огнем. Он мужественно вынес этот, как говорил он, “невиданный в истории войн стальной град”. И лишь когда нечего было и думать о сопротивлении, он, подобно другим, стал думать о спасении. Может быть он и позволил бы носившейся кругом смерти разорвать так трагически запутавшийся узел его жизни, если бы здесь, на “Очакове”, не находился его сын.

Отец и сын пытались спастись вплавь. В тот момент, когда Шмидт уже терял сознание в холодной воде, его с сыном спасли матросы одного из миноносцев, примкнувших к восстанию. Миноносец стал уходить, не обращая внимания

на подаваемые с “Ростислава” сигналы остановиться. Тогда по нему стали стрелять из 11-дюймовых орудий. Один из снарядов пронизал его у трапа и принудил остановиться. Выстрелы, тем не менее, продолжались, и люди кидались за борт, ища спасения. Шмидт с сильно ушибленной ногой и почти без сознания от озноба, оставался в носовом отсеке миноносца. Оттуда, накрытый мокрой матросской шинелью, он был взят на подошедший катер и доставлен на “Ростислав”.

На броненосце Шмидт подвергся гнусным издевательствам со стороны старшего офицера и двух других офицеров. Это продолжалось более суток при попустительстве остальных офицеров и угрюмом молчании матросов. После этого отца с сыном перевезли на главную гауптвахту.

Здесь было немного легче, но все же, как впоследствии рассказывал Шмидт, за двое суток пребывания там, он не мог допроситься, чтобы ему дали чаю, одеяло прикрыться (он был почти без одежды) и кусок мыла.

В то время власти обсуждали вопрос, казнить ли Шмидта теперь же, разыграв комедию полевого суда, или отложить это в более долгий ящик, чтобы обставить ту же комедию более совершенными декорациями. К последнему решению власти склонились, конечно, не из преклонения перед “законностью”. Революционная буря ведь еще продолжалась, как писал Чухнин. Брожение во флоте кровопусканием 15-го ноября было лишь загнано внутрь, и легко могло прорваться снова от малейшего повода. Казнь Шмидта могла послужить таким поводом. И не только взгляды черноморских моряков, взгляды всей России с напряжением были устремлены сюда. Газеты были полны рассказами о “красном лейтенанте” и его подвигах. Он стал национальным героем.

В конце вторых суток пребывания на гауптвахте Шмидта совершенно больного допрашивают, а после допроса переводят на транспорт “Дунай”, где, наконец, арестованным дали поесть и умыться и врач перевязал Шмидту ногу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Последние дни Шмидта.

1. В каземате Очаковской крепости.

19-го ноября на рассвете “Дунай” остановился на Очаковском рейде. Шмидта вывели на палубу к трапу. Он едва шел, сильно хромал, и, когда хотел спуститься по трапу, пошатнулся. Матросы его подхватили и бережно снесли в шлюпку. “Он смотрел прямо вперед на грустный серый берег, — рассказывает очевидец, — и бледное лицо его было спокойно и торжественно”.

Другой очевидец, солдат крепостной артиллерии, служивший на морской батарее Очаковской крепости, так рассказывает о прибытии Шмидта на *его* остров:

“Нам было приказано стать у орудий, откуда нам ясно было видно, как от “Донца” (?) отчалила шлюпка и пристала к пристани морской батареи. Я подошел к пристани, и что же увидел? — Выходит вооруженная команда... Несли на руках человека, а за ним шел молодой человек...”

Шмидта внесли в каземат № 41, где были приготовлены койка и столик.

...Меня первого поставили над ним часовым. Когда ушло все начальство, я обратился к нему, говоря:

— Г. Шмидт, за что вы попали в тюремное заключение?

Он ответил:

— Видя неправду царя и правительства, видя, что они унижают народ и поступают с ним жестоко, я не мог более переносить такой несправедливости и жестокости над

народом и пошел против царя и правительства. За это я и попал в такое заключение”.

Здесь, на острове морской батареи в так называемом "чумном" каземате, сначала вдвоем с сыном, а затем, когда сын 29-го декабря был освобожден, в одиночестве томился Шмидт почти до самого суда. Охранять узника был назначен жандармский ротмистр Полянский с несколькими жандармами; караул несли солдаты крепостной артиллерии.

“Безлюдный мрачный островок, — описывает это печальное место А. П. Избаш, посещавшая там брата. — Придавленные к земле, однообразные, серые постройки-казематы... Везде одни орудия и застывшие около них часовые. Ни одной живой души... Из каземата заключенный видел только море...”

Впоследствии Шмидт зарисовал этот остров с рейда, назвав рисунок “Мой остров”. На рисунке виден маяк, светивший по ночам красным светом. В мрачные и бурные зимние ночи люди а городе смотрели на этот огонек и думали об узнике, томившемся там. Светлые легенды вырастали вокруг него. Очаковские рыбаки, суровые, закаленные тяжелым трудом люди, чтили его при жизни, а после его смерти память о человеке, боровшемся и погибшем за народ, за них, продолжала жить среди них. Солдаты, караулившие его, полюбили его и в казарме много говорили о нем. Рассказывают, что не раз они предлагали ему бежать с их помощью, но он отклонял эти предложения, потому что *должен* пострадать.

Обаятельная личность заключенного действовала и на профессиональных тюремщиков — жандармов. Один из них был целиком предан Шмидту и даже сам ротмистр допускал послабления, которые в отношении такого тяжелого преступника казались несоответствовавшими жандармским нравам.

Следствие по делу о восстании велось самым быстрым порядком. Но при всей спешке должны были пройти месяцы,

прежде чем можно было бы приступить к расправе: привлекались тысячи людей, допрашивалось множество свидетелей. А ненависть и злоба ждать не хотели.

Николай II жаждал крови Шмидта, как жаждали ее и все его верные слуги. Чухнин получил от морского министра одну за другой две телеграммы; в одной из них он просит ускорить следствие, так как царь недоволен, “почему медлят дело бунтовщика Шмидта и матросов”, а во второй сообщалось, что Николай спрашивал: “когда будет покончено с этим изменником?”

Чтобы исполнить поскорее волю царя, было искусственно выделено дело крейсера “Очакова”, и в конце декабря следствие было закончено.

Все это время Шмидт держал себя с выдающимся мужеством и достоинством. По чьему-то совету, сестра его, с целью оттянуть дело (в то бурное время всем, даже властям, казалось, что последняя песенка самодержавия спета), подала заявление о том, что Шмидт — душевнобольной, и просила освидетельствовать его. И можно было думать, что власти охотно согласились бы признать Шмидта больным, чтобы отложить ту демонстрацию какою, — они хорошо это видели, — должна была стать его смерть. Но Шмидт с негодованием отверг этот выход.

Когда 20-го декабря явилась к нему в каземат следственная комиссия с врачами для освидетельствования, он с резкостью и с холодной усмешкой сказал, а потом вписал в протокол следующие слова:

“Если я ненормален, то надо признать, что все сто тридцать миллионов русских людей, т. е. вся революционная Россия, сошла с ума. Если бы я теперь был выпущен из каземата, то при тех же обстоятельствах поступил бы точно так же!”

Шмидт, конечно, не чувствовал себя преступником. Он ждал суда и казни с гордым мужеством. Если в письмах его этих дней встречаются жалобы на судьбу, то обвинять его

нельзя. Эти жалобы даже нельзя назвать человеческой слабостью. Ведь Шмидт помимо воли был поставлен обстоятельствами на пост вождя и играл роль, которая его убеждениям не соответствовала. Тем больше славы его героизму и его большому чувству революционного долга. Он сумел возвыситься до взгляда на свой суд и на свою казнь, как на служение делу освобождения родины. И соответственно с этим взглядом, не отрекаясь в то же время от своих убеждений, он держал себя.

“Я недаром прожил, — писал он, — я тоже внес свою лепту в народное дело, я дал лишнюю волну протеста, осмыслил его своим руководством, хотя и признавал его несвоевременность. Но это не от меня зависело. В руках у меня оказалась стихийная сила, и я оказался не в силах сдержать ее, хотя употреблял к этому все усилия. А если не удалось сдержать ее, то моя обязанность была дать этой силе направление на пользу общему делу”.

“Я знаю, что мог принести гораздо больше существенной пользы революции, если бы бросил матросов и уехал, как предполагал, по фабрикам, но все таки я ни минуты не сожалею о случившемся. Если каждый из нас будет отворачиваться от дела, думая, что оно недостаточно велико для него, то никто не будет ничего делать. Это самая опасная точка зрения”.

“Свою смерть считаю очень плодотворной в смысле революционизирования России. Верю в то, что моя казнь вызовет лишнюю волну народного протеста в его конвульсивной, кровавой борьбе с преступной властью. Знаю, что умереть сумею, не смалодушничая”.

Защиту Шмидта и его товарищей бескорыстно взяли на себя светила адвокатуры. Но Шмидт в первые моменты хотел отказаться от всякой защиты. И только мысль о матросах, его сподвижниках, мысль больше всего волновавшая его, побудила его принять предложение о защите. Кроме того, он принял это предложение и как знак сочувствия

революционной России.

2. Суд.

Защита сорганизовалась в конце января. И с первых же шагов она натолкнулась на вопиющие нарушения всяких юридических норм.

Своих кровавых намерений сатрапы Николая II скрывать не думали. Еще до суда Чухнин своим приказом от 24-го января 1906 года заранее сообщил, что он отказывается в направлении дела очаковцев в кассационном порядке. Этот дикий приказ после поднятого защитниками и печатью шума был отменен, но Чухнин, тем не менее, впоследствии подтверждал приговор до подачи кассационной жалобы. В числе судей были усмирители восстания, командиры “Синопа”, “Ростислава” и “Памяти Меркурия”. И, наконец, оставляя в стороне мелкие правонарушения, было отказано в вызове свидетелей защиты.

Суд начался 7-го февраля и продолжался 11 дней. Шмидт к этому времени был переведен в г. Очаков на гауптвахту, где его навещали защитники, сестра и З. Р. Заседания суда происходили в зале военно-морского собрания.

Мы не будем останавливаться на подробностях этого “суда”: правосудие нарушалось там на каждом шагу, доходило до прямых оскорблений подсудимых со стороны прокурора и судей. Шмидт и его сопроцессники держали себя спокойно и с достоинством.

Последнее слово Шмидта произвело потрясающее впечатление на всех присутствующих, даже на судей. Оно было проникнуто настроением примиренности и всепрощения, с одной стороны, и гордым сознанием величия своей жертвы, с другой. Он требовал от судей, чтобы смертный приговор был вынесен одному ему и чтобы жизнь его товарищей матросов была пощажена. Для себя же он не просил у них

снисхождения и не ждал.

“Велика, беспредельна ваша власть, — говорил он,— но нет робости во мне и не смутится дух мой, когда услышу ваш приговор.

Не первая Россия переживает дни потрясений, и в истории всех народов, при взаимном столкновении двух начал — отжившей и молодой народной жизни, были всегда жертвы.

В минуту государственного хаоса не могут не возникать такие глубоко-трагические недоразумения.

Я встречу приговор ваш без горечи, и ни минуты не шевельнется во мне упрек вам. Я знаю, что вы, гг. судьи, страдаете не меньше нас, вы так же, как и мы, жертвы переживаемых потрясений народных.

Без ропота и протеста приму я смерть от вас, но не вижу, не признаю вины за собой.

Когда дарованные блага начали отнимать у народа, то стихийная волна жизни выделила меня, заурядного человека, из толпы, и из моей груди вырвался крик. Я счастлив, что этот крик вырвался из моей груди.

Дерзновенный крик этот не достиг государя, но если бы он даже и достиг его, то и тогда я не признал бы себя виновным. Преступен тот, кто осмелился в дни мирной жизни насильственно стучаться во дворец. Но когда страна охвачена пламенем, когда дворец горит, то не преступно в безумном отчаянии дерзновенно выламывать двери, чтобы крикнуть государю: “Царь, дворец в огне!” И нет преступления в самой дерзости моей, нет в ней вины.

Я знаю, что столб, у которого встану я принять смерть, будет водружен на грани двух разных исторических эпох нашей родины. Сознание это дает мне много силы, и я пойду к столбу, как на молитву...

Позади за спиной у меня останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, обновленную счастливую Россию.

Великая радость и счастье наполнят мне душу, и я приму смерть!

В последние минуты жизни буду думать: “да живет русский царь, да здравствует грядущее народное представительство, да здравствует всеобщее избирательное право, да здравствует святая, обновленная, могучая свободная Россия”.

Этот монархический мотив, который так странно для нас сплетается с мотивом революционным, звучит и в других речах Шмидта, произнесенных на суде, и, как мы видели, он ярко выражен также в ряде его выступлений до восстания и во время восстания. Следовательно, это не было отступлением от собственных принципов или же жалкой попыткой смягчить свою участь. Но Шмидт и не был искренним монархистом, монархистом из принципа. Считая республику более совершенной формой правления, чем монархия, он выступал, как монархист, лишь потому, что считал идеал демократической монархии идеалом русского народа. В своей защитительной речи на суде он прямо говорит: “Из всех программ и оттенков политической мысли России меня более всего привлекало сочетание “царь и народ”. Тут во мне говорила не политическая сентиментальность, а глубокая вера в то, что *настоящий общественный деятель должен быть не выразителем доктринерских течений, как бы заманчивы они ни были; он должен быть ярким выразителем политических идеалов целого народа* или, по крайней мере, громаднейшего большинства его. А народ только верит или, по крайней мере, верил тогда, когда я был на свободе, и трогательно верил в себя и своего царя. Народ вначале бессознательно, а затем вполне уже сознательно стремился разбить эту непроницаемую стенку, которая так долго, так утомительно долго разделяла царя и народ”.

Все поведение Шмидта на суде проникнуто высоким идеалистическим порывом. Он целиком был во власти

жертвенного настроения и чувствовал себя не столько революционером, дающим последний бой своим врагам, сколько мучеником, утверждающим свою веру перед лицом заблуждающихся палачей. Утопичность его социализма крайнее политическое невежество, наивная вера в царя жаждавшего его крови, все это должно быть отставлено на второй план, когда мы стоим перед трагедией его последних дней.

Приговор был вынесен 18-го февраля. К смертной казни были приговорены: Шмидт — через повешение, старший баталер Частник, комендор Антоненко и машинист Гладков — через расстреляние¹⁰).

Немедленно по объявлении приговора, прямо из залы суда все осужденные были препровождены на транспорт “Прут”, на ту самую плавучую тюрьму, узникам которой 15-го ноября Шмидт дал свободу.

На пути шествия осужденных стояли толпы народа — жители Очакова, солдаты, матросы. Многие плакали. Осужденные матросы срывали с себя погоны и георгиевские ленточки с фуражек и бросали их под ноги. Лицо Шмидта осунулось, но выражение его было светлое. Частник улыбался. Выражая общую мысль, Гладков сказал, обращаясь к одному из защитников:

— Прощайте... Спасибо. Под крест идем... Искали жизни, а нашли смерть!

¹⁰) Шмидту при конфирмации Чухниным виселица была заменена расстрелом. Товарищи Шмидта выделились в дни восстания своей сознательностью и революционностью:

Частник, Сергей Петрович, 31 года, из крестьян Таврической губ. На службу поступил в 1895 году, по окончании срока действительной службы остался на сверхсрочную. До службы был рабочим и еще тогда, в 90 годах был затронут революционной пропагандой. В Севастополе поддерживал связь с социал-демократической организацией, посещал собрания военной организации. Служба кондуктором не сделала его “шкуркой”. Многие из матросов были распропагандированы им. Когда офицеры и остальные кондуктора съехали с крейсера, он остался с возмущившимися матросами и согласился быть командиром судна. Как командир, он оставался на крейсере до последней минуты и был снят с него в числе последних на шлюпку “Синопа”. Как передает обвинительный акт, он в этот момент не был ни угнетен, ни подавлен. Офицеру, командовавшему на шлюпке, он сказал: “Теперь вы нас убиваете и судите, а через несколько дней, ну через год, мы с вами будем делать то же, да еще и похуже. Не я, так другие найдутся, которые отомстят за нас”. На суде он держался с выдающимся достоинством. З. Р., видевшая его в эти дни, говорит: “Особенное внимание обращал на себя Частник: высокого роста, худой, с необыкновенно энергичным лицом. По тому, как он шел и как держал поднятую голову, чувствовалось, что это человек большой воли. Казалось, он весь был вылит точно из стали”. С таким же героизмом он умер.

Антоненко, Никита Григорьевич, комендор, 25 лет, из крестьян Ставропольской губернии. Выделился в момент, когда офицеры хотели обезоружить крейсер. Пользовался большим влиянием на команду.

Гладков, Александр Иванович, машинист, 24 лет. До службы рабочий, социал-демократ. Был депутатом “Очакова” в дивизии. Именно его команда, команда машинного отделения, первая начала открыто волноваться еще 8 ноября. 9 ноября Гладков от имени команды делал заявления прокурору о грубом обращении командира и плохой пище. В дни восстания проявил замечательную энергию.

3. Казнь.

“Прут” стоял на Очаковском рейде. Восемнадцать дней и восемнадцать ночей ждали осужденные смерти. В эти дни вся мыслящая Россия волновалась. Этот приговор, эта смерть казались ненужным, невозможным, вопиющим делом. До созыва Государственной Думы оставались всего недели, дни. И всем казалось тогда, все были убеждены, что первым словом и первым делом собравшихся народных представителей будет амнистия и отмена смертной казни. Даже сам председатель совета министров Витте говорил сестре Шмидта:

— Я всегда был того мнения, что если бы с лейтенантом Шмидтом покончили тогда, на “Ростиславе”, сейчас же после подавления восстания, это можно было бы еще понять и допустить. Но теперь, после трех с половиной месяцев каземата, казнить теперь — это ни для кого не нужная жестокость.

И Витте действительно обратился к царю с просьбой о помиловании Шмидта на том основании, что он, повидимому, ненормален. 23-го февраля царь положил на эту просьбу своего министра резолюцию: “У меня нет ни малейшего сомнения в том, что если бы Шмидт был душевнобольным, то это было бы установлено судебной медициной”. Этим было сказано все: царь желал смерти Шмидта и его товарищей.

Приговор был подтвержден Чухниным 3-го марта. В печати сообщалось:

“По достоверным сведениям, адмирал Чухнин подтвердил приговор над Шмидтом с согласия Петербурга. По тому поводу было совещание высших представителей бюрократии, на котором особенно настаивали на казни министры Дурново и Редигер, на том основании, что проявление мягкости в данном случае могло бы вредно отразиться на дисциплине войск”.

В последнем письме к З. Р., написанном на "Пруте", Шмидт так характеризовал свое настроение:

"Я проникнут важностью и значительностью своей смерти, а потому иду на нее бодро, радостно и торжественно...

Я далеко отошел от жизни и уже порвал все связи с землей. На душе тихо и хорошо".

Этим настроением были проникнуты его последние дни.

Сообщение о конфирмации приговора в отношении его лично он выслушал спокойно. Но когда он узнал, что конфирмован также приговор трем матросам, он не удержался и зарыдал.

Он обрадовался тому, что казнь будет произведена на острове Березани:

— Мне будет хорошо умирать на Березани... Надо мною будет высокое небо, вокруг меня море — моя родная, моя любимая стихия.

И когда он повернул лицо к защитнику, присутствовавшему в его каюте, оно было совершенно спокойно, а глаза улыбались.

Так же спокойно отнеслись к роковому известию и остальные осужденные.

Вечером явился священник с дарами. Шмидт исповедался и причастился. Частник, Антоненко и Гладков от исповеди отказались, при чем Частник подробно и с энергией мотивировал это нежелание.

Матросы, содержащиеся отдельно от Шмидта, просили, разрешения провести ночь перед казнью вместе с ним. И Шмидт присоединился к этой просьбе. Но им отказали.

Шмидта посетил также врач. Но он решительно отклонил всякие разговоры на тему о здоровьи, заявив, что он "совершенно здоров и до места казни дойдет превосходно".

Ночь он провел без сна: то лежал на койке, погруженный в думы, то вставал и писал письма. Эти письма по назначению не дошли. Все усилия получить их остались тщетными.

В 5 ч. 20 м. утра, 6-го марта Шмидт написал последние слова на оборотной стороне маленького образка. Он благословил своих близких и еще раз успокаивал их:

“Мне очень хорошо” .— “Иду на казнь”.

Эти слова написаны твердым почерком, свидетельствующим о победе сильного духа над больным и измученным телом.

К “Пруту” подошел катер. Осужденных вывели на палубу. Подойдя к трапу, Шмидт пошатнулся или оступился. На него накинули веревку. Это сильно возмутило и взволновало его, и он громко сказал:

— Вы же обещали не делать этого!

Веревку тотчас сняли. Спускаясь по трапу, он крикнул оставшимся на “Пруте” товарищам по “Очакову”:

— Прощайте, товарищи!

После Шмидта на катер спустили Частника, Антоненко, Гладкова. Один из офицеров в это время улыбался. Гладков с ненавистью взглянул на него:

— Вам любо! — сказал он.

Березань — маленький скалистый остров близ входа в Днепровский лиман, верстах в 12-ти морем от Очакова. От земли его отделяет широкий мелководный пролив. К нему можно подойти только на лодке.

Катер шел к Березани около часа. Все это время осужденные провели в трюме. Но Шмидт несколько раз выходил на палубу, смотрел на небо и море и курил. В лодке, перевозившей их на берег, он говорил с товарищами о детстве, о сильном ветре, дувшем с моря, о ясном небе...

Экзекуцию должна сила выполнять команда канонерской лодки “Терец”, прибывшей для этого из Севастополя.

Сорок матросов, под командой лейтенанта Ставраки, старшего офицера “Терца”¹¹⁾ съехали с осужденными на берег. В виде резерва еще ночью на остров было подвезено по взводу минеров, пехоты, артиллерии. Кроме офицеров,

¹¹⁾ В апреле 1923 года М. Ставраки был расстрелян за участие в подавлении Севастопольского восстания, за расстрел Шмидта и его товарищей и за преступления, совершенные им на службе советской власти.

командовавших воинскими частями, здесь были также командир и офицер “Прута”, жандармский ротмистр, прокурор, священник и другие лица из официального мира Очаковской крепости. “Терец” стоял недалеко от Березани с орудиями, направленными на площадку, где должна была совершиться казнь.

Осужденные сошли на берег. Здесь Шмидт обратился к лейтенанту Ставраки, его бывшему товарищу по морскому училищу и сказал:

— Миша, кланяйся сестре и прикажи целить прямо в грудь.

Священник, присутствовавший при последних часах осужденных, свидетельствует:

“Меня поражало царственное спокойствие лейтенанта Шмидта. Он не только мужественно, но и величественно шел на казнь. Матросы не спускали с него глаз и повторяли каждое его движение”.

Согласно данному ранее обещанию казнимым не завязывали глаз и даже не привязали к столбам.

Им прочли решение суда. Священник поднес крест...

Шмидт обратился к расстреливавшим матросам:

— Помните о Шмидте, погибающем за русский народ, за дорогую родину и за вас. Таких, как я, много, но будет еще больше!

Осужденные долго прощались друг с другом. Шмидт подошел к столбу, за ним последовали остальные. Гладков крикнул:

— Я готов!

Команда выстроилась. Ударил барабан. Шмидт громко сказал:

— Прощайте и убивайте!

После первого залпа Шмидт и Частник упали мертвыми. Затем умер Гладков. Антоненко после четвертого залпа оказался живым и был пристрелен.

Трупы были уложены в гробы и опущены в братскую

могилу.

Залпы, которыми были убиты Шмидт и его товарищи, потрясли всю Россию и вызвали всеобщий взрыв негодования. Не было ни одной газеты, которая не отозвалась бы на это черное дело. Во многих городах состоялись демонстрации. Хроника тех дней пестрит сообщениями о волнениях среди учащихся, о панихидах, о тюремных голодовках в знак траура, о протестах и т. д.

С другой стороны, правительство ответило мелочными репрессиями. Сестре Шмидта Чухнин отказал в выдаче его тела “из-за возможной демонстрации”. Министерство внутренних дел предписало градоначальникам и полицейским немедленно арестовать и подвергнуть административным взысканиям учащихся, во многих городах оставивших по этому поводу свои занятия. Было запрещено продавать в книжных магазинах портреты Шмидта. Столичные соборы и церкви охранялись несколько дней усиленным нарядом полиции, которой было приказано не допускать панихид. Духовные лица, совершившие в некоторых местах такие панихиды, подвергались преследованиям. Многие газеты были приостановлены или конфискованы за статью о Шмидте.

Но память о красном лейтенанте осталась. Образ его витал над страной и в дни поражения революции, и в долгие мрачные годы реакции, как образ революционера — человека с чистым сердцем и большою душой, отдавшего свою жизнь за великое дело. Лейтенант Шмидт стал легендой, звавшей к новой борьбе.

Литература о лейт. Шмидте и Севастопольском восстании.

1. Обвинительный акт по делу о восстании на крейсере 1-го ранга "Очакове".

Перепечатан во многих периодических изданиях, в том числе в журнале "Право" за 1906 г., стр. 1041 и след. В новейшее время в "Морском сборнике", 1918 г. № 2 — 3.

2. Обвинительный акт по делу о нижних чинах черноморской флотской дивизии, севастопольской крепостной саперной роты, 49-го пех. брестского полка, 43-го пех. зап. батальона, севастоп. крепостной артиллерии и гражданских лицах... Составлен 24 мая 1906 г.

3. "Волнения и причины их в саперной роте (письмо подсудимых)". "Право" 1906 г. № 20.

4. "Жизнь лейт. Шмидта", Спб. 1906 г. Без указания автора.

Подход апологетический.

5. "На пороге к смерти". Из дневника матроса цусимца. "Современник" 1913 г., кн. 9.

6. П. Моисеев. "Последние дни лейт. Шмидта, Частника, Гладкова и Антоненко". "Былое" (заграничное) 1910 г., вып. 13.

7. Л. Арбузов. "Бунт в Севастополе". "Ист. Вестн." 1910 г. кн. 1.

Враждебная Шмидту и революции статья.

8. С. Урусов. "Дни свободы в Севастополе". "Вестник Европы". 1909 г., кн. 2.

9. Л. Резников. "Лейтенант Шмидт". Симферополь. 1917 г.

Многие факты искажены. Преобладает личность автора.

10. "Лейтенант Шмидт". Письма, воспоминания, документы. Под ред. и с пред. В. Максакова. Изд. Центрархива "Новая Москва 1922 г.

Ценное собрание документов и материалов, содержащее: Воспоминания З. Р.; письма Шмидта к З. И. Р.; доклад ротмистра Васильева о севастопольских событиях; доклад Вороницына на конференции военных и боевых организаций РС-ДРП в 1906 г.; речь Шмидта на суде. Относительно речи Шмидта необходимо заметить, что она расходится со стенограф., записью. Речи Шмидта приведены в "Рус. Вед." за 1906 г. и перепечатаны в брошюре Гелиса (см. п. 15).

11. "Лейтенант П. П. Шмидт". Воспоминания сестры (А. П. Избаш). Ред. Изд. Отдел Мор. Вед. 2-е изд. Петроград. 1923 г.

Главный источник для изучения личности Шмидта и его развития. В приводимых документах, речах и проч., к сожалению, сделаны изъятия монархических высказываний Шмидта.

12. И. Генкин. "По тюрьмам и этапам". Петроград. Госиздат. 1922 г.

13. И. П. Вороницын. "Из мрака каторги. 1905—1917 г.". Харьков. Держ. издавництво України, 1922 г.

Обе последние книги содержат личные воспоминания авторов о Севастопольском восстании и о лейт. Шмидте.

14. В. Дробот. "Севастопольское восстание 1905 г.". "Пролетарская Революция" 1923 г. №№ 6, 7 и 10.

Детальная история восстания. Точка зрения автора односторонне-полюемическая. Многие факты грубо искажены, как достоверные, использованы показания свидетелей обвинения и фантастический часто дневник уклонившегося от участия в восстании кондуктора "Очакова" Вдовиченко. Эти недостатки, совершенно обесценивающие работу, лишь отчасти исправлены примечаниями редакции.

15. И. Гелис. "Ноябрьские дни в Севастополе в 1905 г." Изд. "Пролетарий", Харьков. 1924 г.

Ценное и в основных чертах верное описание севастопольских событий. Помимо картины событий автор ставит своей задачей "выявление исторической роли лейт. Шмидта, искаженной дифирамбами эсэросских писателей".

16. Прадиденко. "Памяти лейт. Шмидта". М. 1917 г. Автор — очевидец и один из рядовых участников казни Шмидта. Его брошюра дает лишь несколько штрихов "легенды о Шмидте".

17. "Казнь П. П. Шмидта, Частника и др.". "Красный Архив", т. V. 1924 г.

18. "Дело лейт. Шмидта". "Суд идет", 1925 г. № 1.

19. А. Куприн. "Гибель Очакова". "Календарь русской революции", под ред. В. Бурцева. 2-е изд. 1917 г.

20. "Красное знамя над черноморской эскадрой". Рассказ очевидца. "Кр. Новь" 1923 г.

21. "Красный лейтенант". Сост. Ю. Соболев. "Кр. Новь" 1924 г.